

Слово и дело. Книга первая. Царица престрашного зраку. Том 2

Автор:

[Валентин Пикуль](#)

Слово и дело. Книга первая. Царица престрашного зраку. Том 2

Валентин Саввич Пикуль

Слово и дело #1

Роман В.С. Пикуля «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица престрашного зраку» и «Мои любезные конфиденты». События, описываемые в романе, относятся к эпохе дворцовых переворотов XVIII века, прежде всего к периоду царствования императрицы Анны Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы патриотически настроенных русских людей против засилья иноземцев во главе с могущественным фаворитом царицы герцогом Бироном, против разграбления богатств России.

Книга «Царица престрашного зраку» разделена издательством на два тома. Второй том охватывает события политической истории России, начиная с периода расправы с деятелями старобоярской (русской) партии и принятия Анной Иоанновной акта о престолонаследии до возвышения А.П. Волынского.

Валентин Пикуль

Слово и дело. Книга первая. Царица престрашного зраку. Том 2

© Пикуль В.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

Летопись четвертая. Гордецы и подлецы

Пороки Аннибала, пороки Александра видим мы без их великих дарований...
Утомил бы я твое вниманье и перо мое, ежели б все описывать, что скорбь
делает усердному сыну Отечества!

Расширяй свое воображенье от сих пунктов: сколь ни дашь воли, никогда не
превзойдешь меру...

Из частной переписки XVIII столетия

Глава первая

Сядем на землю и будем рассказывать странные истории о королях...

Шекспир

В блистательной Вене – столице Священной Римской империи – Римом и не пахнет... На венских улицах и плацах узелком стянута пуповина империи Германской (или попросту – Австрии). Здесь царствует последний Габсбург – император Карл VI, на голове которого уместились сразу несколько корон: Римская, Германская, Венгерская, Богемская, Чешская... Просторы владений его чудовищны: под великогерманским прессом сочится кровь покоренных народов Италии, Венгрии, Богемии, Словении, Трансильвании, Чехии, Силезии, Моравии, Далмации, Лотарингии, Бельгии, Мантуи, Пьяченцы, Триеста, Сицилии, Милана, Неаполя и Пармы... Что же делает сам император?

Ничего! Впрочем, у него есть три тяжелые обязанности: молитвы, охота и аудиенции. Вена кишмя кишит дипломатами. Каждый курфюрст, герцог, рейхсграф, вольные города, монастыри со святыми мощами – любая козявка Европы имеет при дворе Карла послов и посланников. Одних только придворных в Вене – 40 000 человек, чтобы обслужить последнего Габсбурга... Увы, последнего! Ибо никакие врачи не способны свершить чуда: у Карла VI нет мужского потомства, рождаются только дочери, и он глубоко несчастен: «Кому достанется этот пестрый кафтан, скроенный из лоскутьев всей Европы?» А пока все свои силы, всю свою бесчувственную страсть император вкладывает в соблюдение придворного этикета. Пять столетий подряд Габсбурги оттачивали это виртуозное совершенство. Обычно штабы бывают при армиях. Но при дворе Карла VI работают целых шесть штабов, ведающих приемами, кухнями, погребями, танцами, конюшнями и охотами. Немецкий этикет – не французский. Когда однажды дикий вепрь повалил императора на землю, подскочил юный паж и убил вепря. Этим он нарушил этикет охоты и был казнен...

Громадный зал, а в нем – за пустым столом! – одинокий Карл VI обедает под роскошным балдахинном. В этот час все на местах; вельможи не смеют сесть – они стоят. Император вкушает земную пищу в шляпе, в батистовых перчатках; головы придворных тоже покрыты шляпами. Сто восемнадцатое по счету блюдо спешит к столу императора. Это не беда, что оно достигнет рта Карла уже остывшим, – важно, чтобы тарелка прошла через сорок три руки. Впрочем, когда Карл обедает на половине императрицы, тогда блюдо проходит лишь через двадцать четыре руки (кабалистика этих цифр загадочна и учету истории не поддается)... Но вот Карл потянулся к бокалу с вином, – шеи многотысячной толпы вытягиваются: «Ах, как бы нам не прохлопать этот момент!»

– Император пьет! – И тысячи шляп слетают с голов.

– Император выпил! – И шляпы опять садятся на парики...

Вена – продажна: здесь каждый живет взятками и грабежом. Вена поет, Вена пляшет, Вена играет в карты, Вена болтает, Вена воюет (всегда чужими руками)... Очень много денег нужно в этом германском Вавилоне! А потому, когда денег не хватает, дипломаты выдумывают конфликты. Они собираются за круглым столом, пишут «дедукции», «трактаменты», «рефлексии» и «промемории». Когда же взятка получена, конфликт считается разрешен, а бумаги (в которых сам черт ногу сломает) сдаются в архив.

Очень много таких бумаг в Вене! Там есть и туманные бумаги из России – они подписаны Остерманом и графом Франциском Вратиславом, который живет в Москве – послом от последнего Габсбурга... Ах, боже мой, неужели последнего?

Увы, это так: престол придется передать дочерям, и этот случай, весьма прискорбный для Габсбургов, оформлен особым актом – Прагматической санкцией... Россия эту санкцию признала: заодно, еще при Екатерине Первой, Остерман посулил Вене дать русских солдат, чтобы защитить бедных немцев, если кто-либо в мире не будет согласен с этой санкцией... Вопрос о санкции – очень и очень важный! Пока что император Карл VI обладает железным здоровьем капуцина: он простаивает в церкви по сто часов кряду. Вокруг него падают в обморок послы России и Франции, выносят обомлевших дам, но император – тверд, как ландскнехт: он стоит, моля бога о признании миром его Прагматической санкции. Отныне эта санкция будет надолго определять политику Австрии. Но политика Австрии часто будет определять и политику самой России, ибо никто так не верит германскому болвану, как граф Остерман – голова всей русской дипломатии. Остерман состоял на жалованье у Австрии, получая от Вены больше, нежели от России; он смотрел на Россию глазами Вены, слышал стоны России только немецкими ушами. Иначе говоря, он ничего не хотел слышать, кроме звона золота и приказов из Вены!

...

Германскому миру в Европе противостоял – Версаль!..

Когда мальчик с нежными льняными волосами, спадавшими до плеч, подрос – его повезли в Булонский лес, где показали, как надо убивать кроликов. Потом он сам убил свою любимую козочку в тот момент, когда она щипала травку из его королевских рук. Людовику были подарены лук и стрелы, он поскакал в Фонтенбло, чтобы застрелить серну. Тетива натянута – раз! – и стрела срывается с лука, летя прямо в живот королевскому пажу. Тогда придворные сказали дружно: «Его величество пора женить...»

Для Людовика XV был составлен список из 99 невест. Среди них значились и две русские – загадочные «Петровки»: Мария Петровка (какой, кстати, никогда не существовало) и Анна Петровка; но их быстро из списка изъяли, ибо они

«странное имели воспитание и обычаи». И, наконец, гордый Версаль вычеркнул всех! Остался лишь последний № 99 – Мария Лещинская, против имени которой стояло существенное примечание: «Ничего нельзя сказать в пользу этого семейства».

Грохот Полтавской битвы отозвался на берегах Вислы; король Станислав Лещинский, посаженный шведским королем Карлом XII на престол в Кракове, бежал из Польши, уступая трон саксонскому курфюрсту Августу Сильному. И долго скитался. И бедствовал. И тосковал. Мужчина умный и любезный, с приятной улыбкой на пухлых губах. Франция приютила экс-короля в своих Эльзасских землях на самой границе, где Лещинский и жил, очень скудно и тихо, изредка грезя о былом...

Дочь Мария в шесть утра, как правило, просыпалась, чтобы взяться за вязание и чтение книг по географии. Однажды в этот час отец, Станислав Лещинский, ворвался к ней с криком:

– На колени, дочь моя! Будем молиться всевышнему!

– Разве вас призвали обратно на престол Польши?

– Небо к нам еще благосклоннее: ты – королева Франции, и Версаль требует от тебя три вещи: башмак, перчатку и платье...

Платье и перчатку (для шитья гардероба) нашли. Башмак был рваным – так и послали его... Этим рваным башмаком Франция вдруг ступила к берегам Вислы, к самым границам России; вопрос престижа очень важный: нельзя, чтобы Людовик был женат на дочери бывшего короля, надо, чтобы экс-король снова стал королем. Но этому мешал саксонский курфюрст Август, сидевший на двух престолах сразу – в Кракове и Дрездене... Впрочем, Версаль не отчаивался: Август Сильный не вечен; говорят, он болен!

Брак Людовика с Марией Лещинской разрывал отношения Версаля с Россией – и без того слабые. Кабинет Версаля словно не верил, что Россия уже вошла в Европу, а Восток давно озарен ее светом. Версаль упрямо не признавал за русскими самодержцами титула императорского, и Анну Иоанновну во Франции называли по-старому – царицей... Самый выносливый курьер, часто меняя лошадей, проезжал от берегов Невы до Версаля дней двадцать пять (иногда и

весь месяц ехал). Но эти курьеры теперь скакали очень редко. И они не спешили, ибо Францию менее всего волновали русские дела.

Версаль подозревал Россию, Версаль не доверял России, Версаль не хотел и слышать о России.

...

А вот и Дрезден! – столица Саксонского курфюршества, дивный кубок Европы, наполненный драгоценностями... Любой саксонский дворянин может обедать на порцеленовой посуде, ибо в подземельях курфюрста Августа Сильного «китайский секрет» уже раскрыт (изобретен мейсенский фарфор). Мало того, богатых покойников в Дрездене уже хоронят в фарфоровых гробах... Даже китайцы не могут своим мандаринам позволить такой неслыханной роскоши!

Под окнами дворца курфюрста течет мутная Эльба; роскошные яхты флотилии, венецианские гондолы в позолоте, матросы в синем и черном одеянии, на шляпе каждого – перо цапли. Самые красивые вещи – в Дрездене, самые прекрасные женщины – в Дрездене, самые беспечные люди – в Дрездене; Дрезден – это веселая Флоренция германского мира в Европе...

Август II, курфюрст саксонский и король польский, недаром прозывался Сильным: шутя он ломал подковы, плющил кубки и тарелки, свертывал в пальцах, словно бумагу, крепкие прусские талеры. А сколько дуэлей, сколько интриг, сколько турниров, и всегда – победитель! Под старость он развратил свою же дочь. Эта дочка ездил верхом, как татарин, курила трубку, как потсдамский гвардеец, и любила выпить не хуже беспутного папеньки... Август был отцом 354 детей и мужем 700 жен. Впрочем, законным у него был только один сын – тоже Август; сын не пошел в отца. Он занимался убийством собак и вырезанием ножницами из бумаги разных забавных фигурок.

– Ах, выродец! – не раз попрекал его отец. – В твои-то годы я садился за стол на рассвете, чтобы встать из-за него только к ночи. Знаешь ли ты, сколько было тостов произнесено при этом?.. Молчи – тебе не дано знать: их было три тысячи! Но это еще не все, сын мой: впереди была ночь, в которую я должен был посетить пятерых любовниц. С трепетом они ждали меня – короля... И, поверь,

сын мой, ни одну из них я не оставил обиженной. Вот какие должны быть короли, а на тебя мне противно смотреть...

Август Сильный был блестящим королем Польши, но ради этого блеска он догола ощипал своих саксонцев. «Когда поляки танцуют, Саксония должна платить за музыку!» – говорил Август. Он щедро платил за музыку, понимая, что корона древних Ягеллонов сидит на его парике шатко... Кому она достанется, когда Август Сильный ляжет в гроб из мейсенского фарфора?

Страх смерти и угасающий разврат – вот суть последних лет жизни этого короля. На одну любовницу Август тратил столько, во сколько обходилось ему содержание целой армии. Саксония давно была сверкающей трухой, обильно крытой сусальным золотом!

Смерть начиналась, как это ни странно, с большого пальца левой ноги. Врачи на коленях клялись Августу, что этот палец уготован самому господу богу... Отрезали! С дамами король разговаривал уже сидя. В подземельях Дрездена (где когда-то трудились над созданием фарфора) теперь засели узники-алхимики: они должны были создать Августу Сильному эликсир бессмертия.

– В самом деле, – говорил курфюрст-король. – Жизнь столь хороша, так почему бы не попробовать продлить ее? А своим бессмертием я здорово накажу поляков! Чего они еще хотят от меня? Я всегда исправно платил за музыку...

Европа пристально следила за тем, как от большого пальца левой ноги Августа Сильного расходилась немочь по телу короля. Когда король умрет, начнется война: Франция будет сажать на престол польский Станислава Лещинского, Австрия (с помощью России) будет стоять за своего кандидата... Пока что наследник Августа (тоже Август) убивал собак и портил ножницами бумагу.

Но было неизвестно, как поведет себя при этом Берлин!

...

Берлин! Здесь царствует «кайзер-зольдат» Вильгельм Фридрих I, курфюрст Бранденбургский и король прусский; владения этого Гогенцоллерна состоят из курфюршества и королевства; Берлин – столица Бранденбурга, а Кенигсберг – столица Пруссии...

Сегодня королева жалобным голосом опять попросила у короля денег для кухни. Король со стоном раскрыл свой кошелек.

– Фикхен, – сказал он жене, глубоко страдая, – нельзя так много тратить на еду. Пора приучить себя доедать вчерашний суп... Помните, Фикхен, что бережливость – главная добродетель женщины!

Чтобы не тратить денег, король старается обедать у своих подданных. Королю страшно подумать, во что обходится одна бутылка рейнского. Черт побери! Вырвать картошку на Шпрее и рассадить виноградники, как на Рейне... Ему доложили, что прусское вино не пенится. Плевать на то, что оно не пенится, зато свое... Жандармы срывали с женщин на улицах Берлина ситцевые платья. Ситец – из Англии, а немкам следует носить одежды из прусского материала. По Берлину ходили чиновники с позорными ошейниками, вина их была ужасной: в халатах у этих негодяев был обнаружен чужестранный хлопок.

– Порядок – бережливость – симметрия! – утверждал король.

Дома строились по линейке. Ничего лишнего. Коробки из камня, в которых пробиты дырки, а в них гляделись обыватели... Красота! Шесть человек за столом: четыре слева, два справа. «Пересесть!» – приказывает король. Теперь три слева и три справа, вот так и надо сидеть. Четверо курят, а пятый не курит. Непорядок. «Дайте этому болвану трубку!» – говорит король...

Но была одна страсть, ради которой король не жалел никаких денег. Это – великаны-солдаты Потсдамской гвардии. Вербовщики короля рыскали по всей Европе, выискивая людей, имевших несчастье родиться рослыми. Никто в Европе (даже монахи!) не был спасен от ужаса Потсдамской казармы. Вышел крестьянин утром пахать в поле – вечером не вернулся. Семья больше никогда не увидит его за своим столом: теперь до самой смерти он осужден выкидывать в Потсдаме мудреные артикулы.

Поэты и философы считались в Пруссии преступниками: их изгоняли прочь из королевства. Была образована «Табачная Академия». Собирались по вечерам пьяницы и курильщики, читали газеты (далее чтения газет ученость не простиралась). Великий Лейбниц для этого дела не годился – президентом наук избрали Грундлинга, посиневшего от пива, и когда он спился, его всей «Академией» хоронили в пивной бочке. Это называлось: «добрый немецкий юмор». Принцы прусские зубрили уставы, упражнялись в мунстре; капельмейстер Пепуш исполнял «Свинскую симфонию», в которой фаготы хрюкали, словно поросята в свинарнике... Любимая музыка короля!

Король-солдат слыл королем-анекдотом... Но... Так ли это?

Пока Европа хохотала над ним, как над придурком, Вильгельм Фридрих делал свое королевское дело. Тишком, экономя на супах и пиве, он сколотил армию-машину, двигаемую в бой палками капралов. Он возводил крепости, приучал народ к экономии, он доверил финансы еврейским банкирам. Франция и Зальцбург изгоняли инаковерующих, а король Пруссии принимал их у себя: беженцы находили у него приют, они оживляли пустоши рубежных лесов и холмов, осушали болота, сеяли хлеб и своим трудом делали Пруссию богаче...

Со скорбным чувством взирал король на Курляндию, которая лежала рядом, бесхозная. Вроде бы подвластна Польше, но там уже гуляют, как дома, русские. Польша же подвластна Саксонии, и все в этом мире запутано... «Черт побери! – говорил король. – Какие лакомые куски валяются у меня под ногами...» Пока же он никуда не лез со своими «монстрами» из Потсдама; сын его Фриц тихо сидел в крепости, но король скоро его выпустит... Европа еще ахнет, увидев, как незаметно вырос хищный зверь, и этот зверь станет легко ломать решетки ветхозаветных рубежей!

...

Испагань – столица Персии – вот уже какой год под властью афганцев. Законный шах Тахмасп изнемогал в борьбе, не имея даже крыши над головой. Среди гор и руин, среди роз и болотных камышей бродили остатки его разбитой армии. А турки, почуяв легкую добычу, рвали Персию с другой стороны.

Персия – сердцевина всех путей с Запада на Восток; здесь еще в древности пролегали дороги для купцов, полководцев и разбойников. Хлеб войскам шаха Тахмаспа пекли до сих пор в печах, строенных когда-то для железных легионов Александра Македонского.

– У шумного водоема, – вздыхал Тахмасп, – всегда разбивается много драгоценных кувшинов... Да будет воля аллаха!

Вот тогда-то и пришел к шаху страшный разбойник по имени Надир (что значит – Раб Чудес) и сказал своему шаху:

– Светлый шах, зачем искать дохлого осла, чтобы снять с него подковы? Лягушку все равно не научишь читать стихи, а я и моя славная шайка давно готовы к твоим услугам...

– Не спеши на минарет раньше муллы, – отвечал ему шах. – Я уже давно, Раб Чудес, мечтаю отрубить тебе голову.

– О, мой повелитель! – захохотал разбойник Надир. – Рубить голову можно тому, у кого шайка меньше твоей армии, шах. У меня же шайка давным-давно намного больше твоей армии, шах.

– Я потушил огонь гнева в сердце моем и не стану более играть золою прежней обиды. Забудем прошлое, мой Раб Чудес...

Надир встал во главе персидской армии, разбив войска афганские, которые считались непобедимыми. Надир освободил Хоросан, вернул шаху Астербад и Мазандаран, а народ приветствовал Надира и помогал ему в этой борьбе. Ибо эта борьба была борьбой освободительной, борьбой справедливой... За воинские доблести шах Тахмасп дал Надиру новое имя – Тахмасп-кули-хан (что значит хан-раб самого Тахмаспа). И стал шах завидовать разбойнику. Решил он сам, без помощи Надира, победить турок, но был разбит и подписал унижительный мир. Персия уступала туркам Тифлис, Ереван, Шемаху, всю Грузию и Армению до светлого журчащего Аракса... И турки сказали шаху Тахмаспу:

– Видишь ли ты эту веревку, свитую из нежных шелковинок? Вот этой шелковой петлей от нашего султана Ахмеда (да продлит аллах его дни!) мы тебя, шах, удавим, как кошку, если ты не станешь отныне изгонять русские войска с

Гиляни...

Продвижение турок задержал опять-таки доблестный разбойник Надир – и победитель снова предстал перед своим шахом.

– Всякая шкура, – сказал он, – все равно, рано или поздно, попадет в дубильню... Где же награда для меня, шах?

Шах Тахмасп отдал Надиру четыре лучшие области Персии.

– Бери, – отвечал, – с Хоросаном вместе... Что делать! Лучший виноград всегда достается шакалу.

– Ты – как мельница, шах! – поклонился ему Надир. – Берешь жесткое, а возвращаешь мягкое... Так вели же теперь отчеканить монеты своего царства с моим портретом!

И шах велел отчеканить монеты с профилем разбойника.

– Хвала молоку, которым ты вскормлен! – похвалил он Надира. – Но скажи, чего еще ты хочешь от меня?

Тогда Надир поднялся к престолу и сказал шаху так:

– А теперь... подвинься, дай и мне посидеть!

Престол – седалище, на котором двум усидеть невозможно, и Надир спихнул шаха прочь. И возвел в шахи сына Тахмаспа – грудного младенца Аббаса... Ребенок, когда его опоясывали мечом, наделал под себя и поднял в мечети рев. Тогда Надир обнажил саблю и сказал громко:

– О доблестный шах Аббас! Я разгадал причину слез твоих... Ты плачешь по тем провинциям, что заняты русскими. Но я поганой метлой вымету русских с Гиляни! Ты плачешь по тем землям, что отняты у нас турками. Но я поведу тебя к берегам солнечного Босфора, и обрезание тебе мы сделаем в мечети Омара...

Нет на Востоке человека более уважаемого, нежели разбойник.

Почти все династии стран Восточных начинают свое пышное родословное древо от пыльного кустика с большой дороги.

...

«Зорко охраняемый Стамбул!» – так именовали столицу Турции ее дипломаты. На осколках Византийской империи, перевалив за Балканы, заплеснув моря пиратскими кораблями, жирно и зловонно ворочалась, в крови и столах, великая империя османлисов. Из колчана Крымского ханства летели стрелы турецкие в далекую Россию, достигая сердца ее – Москвы...

Сераль султана – турецкий Сенат; кызляр-агасы (начальник всех евнухов) – это канцлер; жены султана – это министры; а сам султан Ахмед III – покорный исполнитель их повелений. Хорошо жилось султану в гареме; славился Ахмед шитьем по шелкам изречений из Корана; воспитывал он соловьев и разводил нежные тюльпаны. Но едва брался султан за что-либо другое, более важное, как тут же раздавались голоса придворных: «Исламим Изюльме» (что в переводе значит: «О мой лев! Не причиняй себе забот...»)

Сейчас над сералем султана реял хвост черной кобылы – символ войны, которую ведет Турция с персами. Закончится война, и хвост уберут. Но это случается очень редко: над империей Османов почти все время реет хвост боевой кобылы... Безмятежно Ахмед султанствовал. Кого ему бояться? По закону братья его, дядья и племянники заточены в узилища. Он – один («Исламим Изюльме!»). Вытирает султан руки багдадскими платками, кутает одалисок в шали измирские, верные придворные поливают ему бороду розовым маслом, возлежит он в сладострастье на шелках алеппских.

Но вдруг янычары вытащили на Эйтмайдан свои котлы из казармы и били в них, били, били, били... Это значит: они недовольны своим султаном. Теперь Ахмед мог спастись лишь в том случае, если сумел бы добежать живым до Эйтмайдана и спрятаться в гудящем от боя котле янычар. Восстание охватило весь Стамбул, и янычар Патрона Халиль отключил воду от сераля. Сразу высохли бассейны, в которых купались одалиски. Ахмед III, спасая себя, отрезал голову своему визирю и показал ее через окошко народу. Но Патрона Халиль (дерзкий торговец

старьем) потребовал отворить темницы, где сидели братья и племянники Ахмеда.

- Мы выберем достойного! - кричала толпа.

Выбрали Махмуда, синего лицом от долгого сидения в тюрьме. Поспешно замотал он голову султанской чалмой, а дядю его, Ахмеда III, повели в темницу. Только тогда янычары растащили котлы обратно по казармам. Новый султан первым делом шагнул в прохладу гарема своего дяди, оглядел женщин узкими от бешенства глазами.

- Девственниц оставьте, - велел он кызляр-агасы. - А всех остальных зашейте в мешки и бросьте ночью в Босфор... - Потом он вышел к восставшим, подозвал к себе Патрона Халиля. - Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Пройди же ко мне через ворота Рая, и я расплачусь с тобой, как султан с близким другом...

Босой янычар ступил в сень дворца, и лезвия кривых ятаганов искромсали его в куски. Махмуд спросил у народа - чего он хочет и ради чего бунтует?

- Добычи от побед и никаких податей! - отвечала толпа.

- Хорошо, я исполню вашу просьбу, - обещал Махмуд...

И велел вырезать всех, кто доставил ему престол. По кривым улочкам Стамбула, стуча по ступеням, катились искаженные ужасом головы. Три дня без отдыха шла резня. Наконец затихли голоса людские - только из янычарских казарм еще долго выли собаки.

- Собака - не человек: ее жалеть надо! - повелел Махмуд.

Ему принесли мешки с хлебом. Султан натирал этим хлебом свое желтое тело и волосы, и потом тем хлебом кормили собак. По лучезарному Босфору плыли трупы янычар. Расталкивая их, двигались по Босфору корабли, наполненные янычарскими собаками. Их отправляли на Принцезы острова - в почетную ссылку... Так начиналось новое султанство - Махмуда II.

В один из дней явился паша-капысы, ведавший политикой Турции, с низким поклоном:

– О тень аллаха на земле! Могут ли кусок глины или пылинка подняться к солнцу, которое с тобою сравнивают? Но теплота и жар притягивают их... Возможно ли и мне достигнуть тебя, чтобы весть принести ничтожную?

– Говори, – разрешил Махмуд паше-капысы.

– Пришел к тебе нищий, оборванный, грязный посол неверных из России и, подыхая с голоду, жалобно просит впустить его.

– Пусть войдет, но прежде накормите его и оденьте!

Так всегда докладывали о приходе послов из стран христианских.

И вот предстал перед султаном посол русский – Иван Иванович Неплюев, сразу повел речь о делах персидских, но...

– Вот моя плетка! – перебил его Махмуд. – Я пошлю ее в дар крымскому хану Каплан-Гирею, и он прибудет ее на воротах Санкт-Петербурга, если ваша царица не уберется из Персии.

А на коврах, разложенных перед султаном, возлежал человек, еще молодой, с лицом тонким и матовым, а глаза его – как две маслины. Это и был Каплан-Гирей, хан крымский, и он со смехом отнял плетку из рук султана... Раздалось – прежде:

– Исламизм Изюльме (О мой лев! Не причиняй себе забот). Я уже здесь, и мои татары готовы седлать коней...

Неплюев отписывал Остерману:

«Чему верить здесь – не знаю, за хана же (Крымского) ручаться тоже нельзя, понеже и он того же ехиднина порождения сын...»

...

Примерно такова была политическая карта Европы, когда русское самодержавие, в лице Анны Иоанновны, укрепляло себя указами: крамолу жечь на огне, чистоту дворянства оберегать от людей подлых, «слово и дело» каленым железом отыскивать, женам от мужей не уходить, быть всем престолу верными, никаких помыслов о вольностях не иметь под страхом наикрепчайшего наказания.

Сейчас шли сборы: из Москвы в Петербург.

Глава вторая

Так-то оно так, да как бы не так?.. Охо-хо-хо-хо!

С этим вставали утром, с этим ложились вечером. И чуть что – сразу в угол, на икону: «Господи, не выдай!» А выдавать господу богу было что: много воровали и непотребствовали в доме московского компанейщика Петра Дмитриевича Филатьева.

Сам-то хозяин – купец, да жена у него – дворянка. Потому-то он крепостных своих на жену писал. Жил Филатьев богато: дом высокий, амбары вокруг, в саду вишенья и сморода. А на привязи – для забавы – медведя лютого содержал. Детей Филатьевы не имели.

И вот однажды, разговоров дворянских послушав, вызвал хозяин к себе на половину конюха – Потапа Сурядова. Парень вымахал под самый потолок. Лицом бел и румян. Тоже был на жену-дворянку в «крепость» записан. И сказал конюху Филатьев так:

– Слушай! Я тебе свои мысли выскажу... о розгодрании и протчем нужном товаре. Перьво-наперьво, сначала установи точно день, когда драть надобно. Скажем, провинился в доме кто-либо в понеделок, а день наказанный ты ко среде исправно готовь.

- Ладно, - поклонился ему Сурядов, парень тихий.

- Постой, - продолжал Филатьев. - Еще не все сказал. Дело - за розгой... Избери! Чтобы гибка была и певуча в полете. И клади ее в рассол. И пусть мается в соли. И так-то пройдет вторной день...

- Ладно, - потупился Потап.

- Ну а коли близок час, тогда ты розгу тую из рассола выньми и суй ее... Куда совать - ведаешь ли?

- На что мне? - ответил Сурядов.

- А ты суй ее в хлебное тесто. В самую опару. И... в печь! Понял? И там-то она, в опаре, дойдет... Теперича можно сечь исправно.

- Ладно...

- Заладил ты свое: ладно да ладно... Я для науки все: отныне, слышь-ка, людишек моих сечь ты будешь. А чтобы сечь умел, я тебя во субботу на урок пошлю. К самому прынцу Людвигу Петровичу Гессен-Гомбургскому, прынц сей всех гениусов превзошел. Саморучно челядь свою посекает. Да столь крепко и знающе, что лучше и не придумаешь... Прынц школу посеканскую на Москве открыл!

В субботу с запиской от барыни был отправлен Сурядов на двор к прынцу Гессен-Гомбургскому и все видел. Прынц сам сек. Насмерть. Урок тот был бесплатный - просто прынц хотел услужить госпоже Филатьевой. Спасибо прынцу - Потап все хорошо запомнил...

Прислали как раз в дворню на Москву недоросля крестьянского Ивана, по отцу - Осипова. Ну, дело вестимое, все колотушки ему и достались. Для навыку! А жрать дворне плохо давали у Филатьевых. От голодухи или еще от чего, только Ванька согрешил противу Христовой заповеди. Что бы вы думали? Забрался в погреб, стервец, там его и застукали, когда он грибки из кадушки лопал. Груздочки! Дело ясное: драть Ваньку, чтобы себя не забывал. И был зван Потап Сурядов с розгами...

Вошел Сурядов, как велено. Лежал перед ним на лавке недоросль. Без рубахи. И от страха спиной вздрагивал.

– Ну, милоч, – сказал Филатьев, при сем присутствуя, – введи Ваньку в самую натуральную диспозицию... Посеканции учини, значит!

– А ведь я силы бычьей, силы непомерной, – ответил Сурядов барину. – И коль ударю, знать, до кости пробью мясо... Рассуди сам. Не стану я палачествовать, не!

– Ладно, – вроде не обиделся Филатьев и захихикал...

Ванька сын Осипов с лавки вскочил и убежал. Он в дворницкой возле бабушки Агафьи, слепой вешуньи, обретался. Хорошо там тараканы шуршали, клонило в сон от напевов бабушки:

Не ходи, мой сын, во царев кабак,

ты не пей, мой сын, зелена вина,

не водись, мой сын, со ярыгами –

со кабацкими...

Потерять тебе буйну голову!

...

Под ночь Ванька на двор по нужде выскочил и все-все видел.

Вошли солдаты, с лавки оторвали Потапа Сурядова и, ноги в цепи замкнув, а руки – в путы, увели конюха прочь со двора.

Ванька влетел обратно в дворницкую и – к бабушке:

– Баушка, баушка! Гляди-кось, куда Потапа нашева уволокли?

– Видать, в солдаты, – задумалась бабушка Агафья. – Давно войны не было. Знать, скоро учнется. Барабанчики-то – бах-бах! Ружьеца-то – стрель-стрель! Во страх-то где... И про солдат я тебе, сынок родима-ай, тоже песни знаю... Вот послушь-ка меня, старую:

Расхороша наша барыня,

что Арина-то Ивановна:

разорила она село теплое Плаутино –

раздала всех мужиков во солдатушки...

Забился Ванька в уголок на печи. Слушал и помалкивал. А когда дом весь уснул, он снова в погреб проник. Пил меды, ел груздочки.

С тех пор и повелось: стал он легок на руку – все брал!

...

Вот слова – первые, которые запомнил Потап Сурядов:

– Коли кто сбежит – сыщем, поймаем, кнутом душу выьем, ушиотрежем и отправим в Пернов или в Рогервик на каторжные работы до скончания веку... Где лекарь? Пущай смотрит.

С подворья Феофана Прокоповича пришел лекарь Георг Стеллер. Он по-русски мало что понимал, за него фельдшеры работали. Он больше писал... Раздели всех догола. И тряпье забрали. Стыдно было Потапу голым стоять, да что поделаешь? А рядом – парень, тоже голый, и морда лакейская, гладкобритая.

– Золотого нет? – спрашивает.

– Откеда? – удивился Потап. – И во сне не видывал.

– А у меня... во, гляди! – Распахнул пасть, а там золотой так и сверкает. – Во как надо...

Тут золоторотого к столу вызвали. Он перед фельдшером пасть раскрыл, а там золотой, и фельдшеры сразу руками махать стали:

– Куда его нам такого, всего хворого! Зубов не хватает и тонкокость... Ну-кась, – говорили, – харкни нам в руку. Небось и мокрота твоя худа больно... Плюй смелее, болезный!

Парень харкнул лекарям в руку золотым червончиком, и его тут же отпустили, яко негодного к службе царской. Вот и Потапа очередь подошла, с робостью к столу приблизился...

– Око! – называл от стола Стеллер, и стали Потапу глаза выворачивать, белки разглядывая. – Годен! – кричали.

– Кости! – говорил Стеллер, и Потапу ноги и руки прощупали: нет ли переломов и вывихов. – Годен!

По спине потом хлопнули, за дверь выставили: хорош солдат будет. Дали мундирчик ношенный и поставили для начала капусту для полка рубить. Рубил – день, рубил – два, даже руки отвисли. Сказали – хватит! Тут подошел к Потапу дряхлый старик, капрал Каратыгин, и разговорился душевно.

– Дай, – сказал, – старичку пяточок на виносогрешение, и я тебя научу, как от службы царской бежать!

– Вот закавыка, дедушка... Нет пяточка у меня.

– Прямо беда! – пригорюнился старый капрал. – У кого ни спрошу, у всех нету... Ладно! Так и быть: обучу тебя наукам всем бескорыстно... Вникни! Когда-сь в компанент на учебу выведут, сиречь – в строй лагерный, ты кричи за собой «слово и дело» государево.

– Эва! – сказал Потап. – Да за «слово и дело» мне кнутом три шкуры спустят. Да еще язык вырежут. Потому как кричать «слово и дело» надо, что-то зная, а коли

так, спуста, – плохо!

– Дурак ты, – отвечал ему капрал. – Ну три шкуры... ну и восемь шкур. Да зато ведь кнутом битых в службе держать не велено. Вот ты и стал человеком вольным!

– Нет, дедушка, – почесался Потап. – Мне твоя наука не пришлась по сердцу. Лучше уж я солдатом буду, стану служить, как положено, может, ишо и в офицерство иройством выбьюсь!..

Вывели рекрут в компанент – стали учить строю. Экзерцировали изрядно – до осьмого поту. Шаг был гусиный, стрелять велено не целясь. Лупи в белый свет – как в копеечку. Лишь бы грохоту поболее, дабы врага напужать зверски! Тягот в полку фузилерном было немало. Потап слово «залф» – понимал (более понаслышке, конечно). А вот когда офицеры кричали: «...нидерфален!.. поутонг!.. рейс!» – тогда путался.

И его отводили в сторону. Велели ни к чему не касаться и стоять так недвижимо. А потом побьют через профоса и снова в строй гонят. Слава богу, учили – не жалели. Был рот полный зубов, а теперь просвечивало. Убыток, кругом убыток! Но шагал хорошо...

Потом, обучив, зачислили в Выборгский полк фузилерный, – топай, сказали. Выборг – город скушный. И били здесь больнее. С тоски Потап однажды, сильно на профосов обиженный, решил утопиться. Прыгнул он в море, а там мелко. Конфуз один... моря-то Потап никогда не видел. Сказывали люди бывалые, будто глубь страшенная! Побежал далее прочь от берега – от полка, от батогов, от профосов. Бежал, бежал, ногами воду расталкивая, устал бежать. А воды всего по пояс ему хватило.

– Ладно, – сказал Потап, обратно к берегу поворачивая. – Может, оно и не все так... Может, ишо война будет. Так я выслужусь...

Перевели его вскоре в полк Углицкий и погнали сначала в дивизию генерала Виллима Фермора, что стояла под Шлиссельбургом, а оттуда завернули, Петербург минуя, прямо на Ревель – Колывань – городок это не нашенький, жуткий. Шли через Нарву, и было все внове, все любопытно. До этого-то Потап таких городов и не видывал. Даже радостно было шагать. Там петуху голову

свернут, там девка тебе улыбнется, там водочкой угостят... Оно и хорошо!

Пришли в Ревель. Мати дорогая! Ну и башни... ну и паненки! Ну и страх... Под бой барабанов, по аппарели, выложенной булыжно, гнали наверх – в гору. Тра-та-та! Та-та! Выше, выше – под самое небо, город внизу остался. Стены высоченные. Кладка старая. Сыро. Фитили в подъездах горят. Вышел к ним усатый черт в скрипучих ботфортах. В руках – дубина, с конца гвоздями обколочена. А за ним – профосы с плетками. Прохвосты они, а не профосы...

– Любить, любить, любить! – гаркнул усатый черт по-русски.

Ласковые слова эти тут же пояснили – толково и дельно:

– Его высокопревосходительство, генерал-аншеф и губернатор земель Эстляндских, граф Оттон Густав Дуглас изволил сейчас сказать вам всем, что вас будут... лупить, лупить и лупить!

Вышел плац-майор с обнаженной шпагой. Встал «пред фронт»:

– Знамена – за полк! Офицеры – на места! Гобои – раз!

И гугняво запели гобои. Начиналось опять мунстрование.

Потап Сурядов терпеливо шагал, надеясь на лучшее.

...

А в доме Петра Дмитриевича Филатьева, как и прежде, текла сытенная и смиренная жизнишка. «Господи, не выдай!» – и в угол метались, к иконам припадая. От воровства извечного Ванька сын Осипов раздобрел. Штаны раньше сваливались, а теперь на пузе не сходились. Ремешок лопался! Сначала воровал больше от голода, а теперь – в похвальбу себе да в озорство. Я украду, а вы ищите!..

Вышел однажды на улицу. А мимо проходил человек толковый. И подошвы оторваны: щелк-щелк, щелк-щелк. А рубаха-то – шелк!

– Кто такой шествует? – спросил Ванька, очарованный.

– Петр Камчатка, вор на Москве известный...

Скоро встретились. Камчатка поднес стаканчик винца.

Смотрел с улыбочкой. И сказал слова примечательные:

– Пей водку, как гусь. Ешь хлеб, как свинья. А работай черт, но не я... Сказано сие в кабаке, сидя на сундуке.

Весело стало Ваньке от вина кабацкого. Начал он жизнь свою по порядку Камчатке пересказывать. Плохо ему за барином, объедки да побои, а своруешь – опять бьют. Едина душа была добра, Платон Сурядов, да и того в солдаты забрили.

– Сбежит! – мигнул ему Камчатка. – Рази вытерпит?

– Как же? – обомлел Ванька. – Можно ль сбежать из солдат?

– А во! На меня гляди... Весь я тут солдатский, весь беглый!

Ночью, когда в доме спали, Ванька ворота открыл, впустил Петра Камчатку на двор: щелк-щелк... Проснулся сторож – заголосил:

– Караул-у-ул... воры, воры, воры!

– Лозой его! – крикнул Камчатка. – Той, что воду носят...

Ванька коромыслом сторожа – бряк по башке. Затих. Взяли в доме что лежало поверху, и – прощай, Петр Дмитрич... Камчатка, легкий на ногу, увлекал Ваньку под мост Каменный, под сырые своды его.

А там, под мостом, весело. Пляшет и поет народ гулящий.

- Поживи здесь в нашем доме, - говорят. - Наготы и босоты понавешены шесты. Голоду и холоду - амбары стоят, зубы об язык с голоду трещат. Пыль да копоть, нечего лопать... Дай гривенный!

- Нету, - схитрил Ванька сын Осипов.

- Ах, нету? - И стали его бить (не хуже, чем Филатьев).

Пришлось вынуть. Тут и винцо явилось. Петра Камчатку воры пытали про Ваньку: кто таков есть? Не из Сыскного ли приказа подослан? Больно уж молод да с лица хитер...

- Не бойсь, - отвечал Камчатка. - Будет нашего сукна епанча! Он еще милостыньку прохожим кистеньком подаст ночью темною...

Всю водку выпили воры. Ушли на ночной разбой и убийства. Ванька утра дождался. Сидеть под мостом сыро и скушно. Вылез и пошел поразмяться. Тут его схватили дворовые люди Филатьева, стали вязать и лупить, приговаривая:

- Каждый бы хотел так жить, не тужить. А ты - што? Лучше нас рази? Ишь ты, крендель без маку... Вот и ступай до дому!

Филатьев велел беглого Ваньку приковать на цепь. Рядом с медведем. И не кормить - ни Ваньку, ни медведя.

- Я, - сказал барин, - ишо посмотрю, кто кого слопают?

Выручила Ваньку бабушка Агафья: она тихонько ему носила для Ваньки, а он, не будь дураком, ту еду медведю скармливал. Чтобы тот был сыт и его не трогал. Так и сидели на цепи двое.

Петр Дмитриевич даже сердиться на медведя стал.

- Эх, Мишка, - говорил, бывало, на двор выйдя, - совсем нет в тебе лютости... Ну чего спишь? Бери вот Ваньку да начинай с ноги его лопать. Он же - вкусный...

А Ванька от голода уже посинел. Но пузо – дело наживное. А вот жизнь потерять – тогда все! Потому и терпел. Однажды бабушка Агафья ёдово принесла и нашептала:

– Слушай, сынок. Наш-то барин в страхе нонеча. Ему солдата мертвого через забор на усадьбу подкинули. Он не знал, куда подевать его, взял да в колодец и опустил... Вода любой грех кроет!

– Не любой, баушка, – сурово ответил Ванька.

Вот и вечер над Китай-городом, порозовела Москва. Сытый медведь поворчал немного и спать завалился, когтями морду себе прикрыл. Около него (лицом в пахучую шерсть) притулился Ванька сын Осипов, сын крестьянский из села Иванцева уезда Ростовского. А в господском доме окна зажглись. Пришли гости: полковник Пашков Иван Иванович с сынком своим. А кучер барский куда-то палки понес, гладко оструганные. Видать, полковник затем и зван в гости, дабы в свидетелях быть, когда Ваньку молотить станут палками...

И верно – позвали к расправе. Уже и лавка приготовлена.

Лег Ванька... Лег и сразу вскочил.

– Слово и дело! – гаркнул, аж на улице слышать было...

Филатьев – как полотно белый стал. Пашков чарочку от себя отодвинул. Стали Ваньку они просить, чтобы «слово и дело» обратно взял. Но Ванька прямо на полковника так и лез грудью.

– Во, служба! – говорил. – Коли смолчишь, так имею право и на тебя «слово и дело» кричать... Ты свое дело-то делай!

Пашков усы вытер и стол хозяйский покинул.

– Извини, Петра Митрич, – сказал хозяину. – За хлеб, за соль спасибо тебе. Однако, как человек присяжный, обязан я о розыске том объявить, куда положено... – Потом к Ваньке повернулся. – Ну, а ты настучал на хозяина, так пойдем, стукач, в Стукалов монастырь на Лубянку. Там тебя на дыбе подвесят да

и свешают безменом стучащим, сколь фунтиков ты потянешь.

- Веди! - отвечал Ванька. - Мои фунты всегда при мне!

И отвели его на Лубянку, где размещалась московская контора Тайной розыскных дел канцелярии. Там, по времени позднему, один секретарь сидел - Казаринов, бил он Ваньку дощечкой - ровной-ровной. И по этой же дощечке, к бумаге ее прикладывая, выводил потом ровные линии, по коим в тетрадке допросной писать удобнее.

Но Ванька ему ничего не сказал, секретаря озлобив.

- В баню его! - крикнул Казаринов. - С утра парить станем!

Утром пришел в застенок московский губернатор, сиятельный граф Семен Андреевич Салтыков, и стал ругать Ваньку:

- Чего «слово» орешь? Почто «дела» не сказываешь?

- А потому не сказываю, - отвечал Ванька, - что твой секретарь Казаринов у моего хозяина Филатьева в гостях бывал, и боюсь я, как бы рука руку не помазала...

- О! Ты неглуп, - засмеялся Салтыков, табачок нюхая.

Ванька ноги графа обнял, стал целовать их и рассказывать:

- Барин мой подбивал солдата кнутом деревянным, которым рожь брюжжат. Солдат ногами не встал, так мой барин его завернул в ковры персицкие, в каких соль возят, и башкой вперед - ухнул его в тот сундук, откель воду черпают...

- Коли соврал - убую! - сказал ему Салтыков.

Взяли Ваньку в штыки, пошли в Китай-город. Крюком железным, которым ведра утопшие достают, зацепили со дна колодца нечто тяжелое. Потянули. Вытянули. Обнаружился мертвый солдат полка ланд-милиции.

Тут Ванька своему хозяину закричал голосом нехорошим:

- Эй, барин! Ты меня днем на Саечных рядах пымал, а я тебя прямо в дому твоём спроворил... Мое «слово и дело» верное!

Взяли Филатьева под караул. А граф Салтыков выдал Ваньке сыну Осипову «письмо отпускное». Теперь, когда наговор его оправдался, он – по закону! – получил волю вольную. И более крепостным не был.

Гуляй себе! Ходи где знаешь...

- Каин ты! – кричал Филатьев ему. - Ты – Каин!

А Ванька снова – шасть под мост. Сидел там славный московский ворюга, дворянин Болховитинов, и делал в журнале опись подробную: кого и когда он ограбил. Сколько было с «походов» тех ему выручки. Ванька к дворянину Болховитинову подластился.

- Научи и меня писать, осударь, – попросил.

- И так подохнешь... Наука – дело дворянское.

С тех пор Ванька по отцу своему Осиповым уже не звался.

- Я – Каин! – говорил он. - Всех куплю, всех продам. Эй, ребята, что загрустили? Пей водку, как гусь, лопай хлеб, как свинья, а работай черт, а не я!..

...Было в ту пору Ваньке Каину всего пятнадцать годочков. Далекое пойдёт парень. В истории же место его – наравне с курфюрстами и королями. Велик Ванька, велик!

Всех купит – всех продаст. Вы его, люди, тоже бойтесь.

Глава третья

С Украины уже не раз доносили о набегах жестоких из улусов ногайских. Крымский хан (по слухам) уже получил из Турции вещей подарок: халат и саблю, а это значит приказ – к походу! И вскинулись крепкие татарские кони, и было еще неясно, куда они ринутся, топча пределы российские. Кажется, через степи они помчатся на Кабарду... При дворе первым делом решили освободиться от областей, завоеванных в Персии, – от Гиляни избавиться! Земли эти на море Каспийском, с таким трудом завоеванные, камнем висели на шее Анны Иоанновны.

– На што мне Гилянть? – говорила она Остерману. – Да и далеки эти земли, солдаты в тех краях избалуются, чай. Пущай уж Надир забирает их обратно под свою руку...

Остерман Востока не знал и боялся его. Гилянские провинции – что ведал он о них? Жарко там, дух гнилой, клопы и клещи, мрет там много народу... И он поспешно согласился с царицей:

– Ваше величество, прибыли от тех краев никакой!

– А убытку-то сколько? – спросила Анна.

– Очень много. Но славы – мало...

– Вот видишь, Андрей Иваныч, – обрадовалась Анна. – Так на што мне эта Гилянть? Эва, у меня и своих земель не счесть... Говорят, это Волынский втравил Петра в походы персицкие... у-у-у, проклятый!

Помилование Волынскому она еще не подписала. Но зато не уступала Бирену и головы графа Ягужинского. Бирен ходил эти дни, как помешанный, твердя императрице неустанно:

– Анхен! Русские должны знать, что я умею любить, но я умею и мстить... Неужели можно простить дерзость Ягужинского ко мне?

Анна Иоанновна выла в голос – как бабы на базаре:

– Тебе Ягужинского отдай с головой, а где мне взять ишо такого слугу? Ведь он прокурор имперский, за меня от скорпионов верховных был в железа вкован...

Бирен решил добиться своего. И для этого у него козырь был верный: он знал, как сильно Остерман ненавидит Ягужинского.

– Вот вы, – сказал он императрице, обозленный, – всегда верите Остерману! Спросите у него. Так ли уж необходим для славы вашей этот разбойник Ягужинский?

Он был уверен: Остерман так и схватится за топор, сообщая они разложат на плахе шумливого Пашку. В покои императрицы был срочно зван Остерман (опять... умирающий). Поверх вороха одеял лежали его восковые пальцы.

– Ягужинский... необходим, – заверил Анну вице-канцлер.

Бирен опешил. Вот этого он никак не ожидал.

Напряжение ума. Интриги. Конъюнктуры. «Уступить нельзя, – быстро соображал вице-канцлер. – Сегодня голова Ягужинского, а завтра этот кобель потребует у Анны моей головы... моей! Головы мудрого Остермана!..»

– Ах ты шарлатан! – заорал на него Бирен, опомнясь. – Долго ли ты еще будешь дурачить меня и ея величество? Тебе давно уже никто не верит. Сними свой козырек и покажи свои бесстыжие глаза.

Остерман не двинулся в коляске. Но по щекам его, серым и впалым, вдруг градом хлынули слезы.

– Оставь Андрей Иваныча... не мучай его, – заплакала и Анна Иоанновна. – Чего ты хочешь от нас?

– Я уже ничего не желаю в этом подлом мире! – воскликнул граф Бирен. – Но пусть этот человек только посмеет взглянуть на меня...

– Что ж, – тихо ответил Остерман, улыбнувшись. – Я могу поднять козырек. Но вид моих глаз вряд ли будет приятен вашему величеству и... вашему

сиятельству, господин Бирен!

И козырек он сдернул. Вот оно – лицо трупа (натертое фигами). Глаза, заплывшие гноем, бестрепетно взирали на графа Бирена.

– Закрой, – велела Анна Иоанновна в отвращении.

– Ягужинский, повторяю, необходим, как генерал-прокурор империи. (Удар ладоней по ободам колес, Остерман ловко подъехал к Анне.) А почему бы, – спросил вкрадчиво, – не послать Ягужинского послом в Берлин?

Спросил и весь напрягся: никто (ни Анна, ни Бирен), никто из этих балбесов не догадается, что задумал великий Остерман.

– Но при королевусе прусском, – опешила Анна Иоанновна, туго соображая, – уже есть посол... Михайла Бестужев-Рюмин!

– Его – в Стокгольм, – рассудил Остерман.

Анна Иоанновна умоляюще глядела на Бирена.

Бирен грыз ногти. Остерман, усмешку затаив, выжидал.

– Хорошо, – поднялся фаворит. – Я согласен: посылайте его хоть в Китай, но чтобы я не видел более низкой физиономии Ягужинского. Я так не могу жить далее... Или я, или он.

Теперь Анна глядела на Остермана – вопросительно.

– Вот те раз! – сказала, себя по бокам шлепнув. – Договорились, хоть из дому беги... Ягужинского – в Берлин, а кто же тогда в прокурорах империи?

Остерман доплел свою паутину до конца:

– Ягужинский и останется генерал-прокурором!

Тут Бирен не выдержал – расхохотался:

– Ягужинский и там и здесь? И посол? И генерал-прокурор?.. Прав Волынский – плывем каналами дьявола!

– Око Петрово, – отвечал Остерман спокойненько, – из Берлина еще лучше разглядит грехи наши. А королевус прусский...

Но тут влетел Рейнгольд Левенвольде, сияющий:

– Ваше величество, из Петербурга гость...

О, чудо! На пороге, словно влитый в пол, стоял громоздкий истукан. Ботфорты сверкали на нем, лосины поскрипывали, чистенькие. И палашом он салюты учинял, безжалостно и дерзко рассекая воздух...

– Миних! – вскрикнула Анна, рванувшись вперед.

Палаш отринулся к ноге, плашмя прилег к ботфорту.

– Я буду счастлив, – заговорил Миних, сразу идя на штурм, – видеть ваше бесподобное величество в Петербурге! Ладожский канал – это великое произведение вашего царствования! Оно осенит вас в веках, и благодарная Россия, может, упомянет когда-либо и мое великое имя рядом с вашим именем – наивеличайшим!

«Умеет льстить, оставаясь грубым», – заметил Остерман.

– Что ж, – сказал он, – великое царствование государыни нашей имеет право избирать великих героев. Пусть и Миних тоже будет великим... не так ли?

И, презрев всех, выкатился. Бирен дружелюбно хлопнул Миниха по груди и ушиб себе руку. Под кафтаном генерал-аншефа скрывались латы. Миних был непробиваем – ни интригами, ни пулями.

– Ваше величество, – поклонился Бирен, – я оставляю вас. Однако, не уступив мне в Ягужинском, вы уступите мне в Волынском...

Анна Иоанновна, кося глазами, согласилась. Теперь граф Бирен нахваливал себя перед русскими вельможами:

– Я спас Волынского от виселицы... благодарности от него не жду, я поступал как христианин.

Ягужинского скоро из тюрьмы выпустили, велели в Берлин отъехать – послом. Павел Иванович всю ночь перебирал свои бумаги заветные, наутро сгреб их в кучу и нагрянул к Миниху.

– Бурхард Христофорыч, – сказал ему, – небось уведомлен, каково меня сгрызли тут? Так я до тебя... Дело сердечное, до всей России касаемое. А мне его завершить не дадут, потому как ныне упал я шибко. Тебе же оно, дело это, только славы прибавит!

– Славы у меня и без того много, – отвечал Миних, гордясь. – Однако покажи... Я и сам проектами полон. И мост через Балтику перекинуть. И Китай замышляю покорить... Я ведь все могу!

Ягужинский вручил Миниху свои проекты об образовании юношества на Руси при корпусах кадетских, где бы воспитывать дворян воински и граждански...
Вздыхнул:

– А я в Берлин отбываю, стану там пива разные пробовать. Может, и вернусь жив? А может, и помру... Прощай, аншеф!

...

Миних был на руку горяч и разумом вспыльчив. Когда еще мост через Балтику построится? Европа-то не ждет: она в надежде взирает на Миниха, и надобно ее поразить. Гуляя как-то с императрицей по саду Головинскому, Миних воткнул с сугроб свою громадную трость, воскликнул – весь вдохновенный:

– Не сойду с места сего, мать моя и благодетельница! Знай же, что Петр Великий говорил, будто только один я скрасил убогие дни его последние. И мечтал великий государь отплыть со мною от пристани в Петербурге и сойти на берег как раз на этом месте... Вот тут, где ныне моя дубина торчит, матушка!

– Что ты ныне желаешь? – спросила Анна, пугаясь.

– Полон я прожеками, мать моя, когда-нибудь лопну от них, как бомба... Саксонцы и баварцы уже переняли от Пруссии корпуса кадетские. Не пора ли и нам почину их следовать? Генерал-фельдцейхмейстерства желаю я также, чтобы дело пушечное подъять на Руси! Генерал-фельдмаршальства желаю также, дабы горячность моя к битвам не охладела...

Миних съедал по сотне блинов сразу. С маслом, с медом, со сметаной, с икрой. Выпивал аншеф целый анкерок настоек и, расстегнув золотой пояс на тугом животе, угрожал России страшными проектами.

– Версаль, – говорил он, – будет у стен Шлиссельбурга! Это я вам обещаю: сады, каскады, фермы, бабы в сарафанах... Качели! Куда ни глянешь – качели, качели, качели. Все деревни закачаются. Да!.. Имею еще некоторые соображения. Но, дабы не вредить безопасности государства, о них прежде молчу. Но... ждите!

Остерман даже не заметил, как Миних вдруг стал самым близким человеком у царицы. Это опасно. Желая забежать вперед, он тоже приласкал Миниха, советуясь с ним о создании Кабинета, он даже предложил грубияну пост кабинет-министра. Но Миниха на патоке не проведешь. Аншеф сразу раскусил, что главным в Кабинете будет Остерман, а Миниху всегда хотелось быть только первым...

– Я буду первым, – заявил он честно. – В делах военных!

В один из дней пришли в комнату Иоганна Эйхлера молчаливые кузнецы, расковали от цепей флейтиста. Остерман нежился в лучах триумфа, отдыхая от конъюнктур. «Как это удачно! – размышлял он. – Бирен остался в дураках, генерал-прокурор вроде бы и существует, но Пашки-то нету... Пашка в Берлине на пивах сопьется. А кто остался хозяином на Руси? Я, великий Остерман!..»

Темные каналы кончились, и пора было выплывать на свет божий. Кабинет станет главным законодательным учреждением в России.

– Ваше величество, – напомнил Остерман императрице, – все зло на Руси исходит от коллегияльных замыслов. Бойтесь мнения общего, но дорожите исключительно одним мнением – своим...

– Кого мыслишь в мой Кабинет министрами посадить?

Остерман заранее решил, что сажать надобно тех, которые дурнее всех, которые трусливее всех, которые богаче всех.

– Ваше величество, – отвечал он царице, – канцлер империи граф Головкин, Гаврила Иванович, хотя и дряхл, но достоин той чести. Да и князь Алексей Черкасский – муж пламенный, добродетелями украшен!

На костях догнивающего Сената был воссоздан «Собственный Кабинет Ея Императорского Величества». Поблизости от покоев Анны Иоанновны (рядом с покоями Бирена) освободили угол. Истопник Милютин как следует прожарил печи, чтобы Остерман не мерзнул. Лакеи вперли сюда пышную кровать, взбили пуховые перины.

Кабинет был готов...

Сели за стол кабинет-министры, и Черепиха – Черкасский долго в недоумении тугодумно озирали высокую кровать.

– А кровать-то к чему здесь, Андрей Иванович?

– Как же! – пояснил Остерман, улыбаясь. – А ежели ея величество пожелает почтить нас своим присутствием?..

И правда, пришла как-то Анна Иоанновна, посидела немного. Потом туфли с ног сошлепнула на пол, сунулась в пуховые подушки:

– Ну, министры! Ну, родненькие мои! Вы о делах важных тишком рассуждайте, а коли я задремлю – так вы уж потише...

Вот берлога – так берлога: именно о такой яме и мечтал граф Остерман. Теперь дела России двигались через Кабинет – Черкасский спал, Головкин трусил, Остерман решал.

Вся Россия отныне была в руках одного Остермана!

Однажды как-то подсунулся к нему Иогашка Эйхлер:

– Ваше сиятельство, а какой род службы мне поручаете?

– Флейтируйте пока, мой друг, флейтируйте, – обнадежил его Остерман. – Со временем вы мне понадобится на большее... Я вознесу вас, преданный Иоганн, столь высоко, что с высот Кабинета вы обзрите всю Россию... А сейчас, – закончил он без пафоса, – езжайте до Рейнгольда Левенвольде, обер-гофмаршал мне нужен!

...

Прямо от вице-канцлера Рейнгольд Левенвольде отправился в дом князя Черкасского просить руки его дочери – Варвары Алексеевны, которая давно считалась невестой поэта Антиоха Кантемира. Черкасский, коли гвоздь надо было вбить в стенку, и то годами не мог решиться – вбивать или не вбивать? А тут такое... Громадное «курфюршество» князя уплывало в руки курляндского оборотня.

– Ея величество, – безжалостно добил его Рейнгольд, – желают брака вашей дочери со мною!

Воле царицы перечить не станешь, и скоро Рейнгольда обручили с богатейшей невестой России.

– Ну что ж, – сказала при этом тигрица Варька, – коли золотого осла по мне не сыскалось, так пушай уж так: и на льва я тоже согласна...

Так начал Остерман расправу с Кантемиром – бил прямо в сердце, и справедливо писал князь Антиох:

Зачни с Москвы до Перу, с Рима до Китая,

Не сыщешь зверя столь, как человек, злобна...

А ведь помазали его милостями изрядно, стал Кантемир при Анне Иоанновне богатым помещиком земель Брянских и Нижегородских, – земли в тех краях сытые, жирные, лесные, пашенные. И невесту его, Варьку Черкасскую, царица заметно отличала, дозволила ей носить в прическе локоны, что другим девкам при дворе было строго заказано (за вину такую их на портомойню отсылали, где они штаны солдатские выстирывали). Но теперь все разом пошло прахом.

– Высокая степень, – говорит Кантемир, – да и богатство редко без беды бывают. И всегда беспокойны! А кто в тишине, от суеты мирской далече, будет малым доволен, тот и достоин называться философом истинным... Уехать бы!

К этому времени британский консул Клавдий Рондо начал трясти при дворе образцами сукон. Был он купчина хоть куда! Чего только не вытворял с этими сукнами: мочил их в уксусах, рвал шпорами, протыкал шпагою, палил над свечой и давал нюхать изгарь Миниху. И все это затем, чтобы доказать неопровержимую истину: британские сукна намного прочнее прусских!

Анна Иоанновна тоже сукна щупала и жалась: денег не было.

– О! – восклицал консул Рондо. – Англия богата, и деньги ей не нужны... Только пусть Россия откроет для наших кораблей Ригу, Архангельск и Петербург. И не надо нам денег! – повторил он, добавив: – У вас нет золота, но зато много воска, дерева, пеньки, смольчуги, льна и смолы...

Анна Иоанновна показала сукно Ивану Кирилову, что был членом в Комиссии о коммерциях... Он тоже сукно похвалил.

– Оно бы и ладно, – рассуждал Кирилов. – Да не ущемит ли сия коммерция прибыли купцов российских? Может, ваше величество, еще помучаемся, а скоро и сами начнем сукна валять отличные? Им воск и дерево отдай, а взамен бутылки да пуговицы получишь...

Но в Комиссии о коммерциях опять Остерман был главным.

– Мануфактуры российские, – отвечал он по-немецки (чтобы слов не выбирать), – внутреннего рынка и того обеспечить не могут.

Клавдий Рондо своего добился: дорога из солдатского сукна превращалась для Англии в «шелковую дорогу», – транзит через всю Россию в Персию, на восток, прямо в Индию, вот чего он добился! Теперь Россия была закована в две цепи сразу: Веной – в политике, Лондоном – в торговле... Клавдий Рондо, мужественный и умный, сделался при дворе своим человеком. Признав его на Москве как посланника, надо было готовить русского посла в Англию... «Вот удобный случай избавиться от Кантемира!» – решил Остерман, но Анна Иоанновна вице-канцлера тут же высмеяла:

– Придумал же ты, граф, кого послать! Да англичане, чать, молокососов не жалуют... Справится ли?

Остерман все заботы взял на себя. В карете вице-канцлера ехал князь Антиох на обед к английскому консулу.

– Сколько же вам лет, дитя мое? – спросил Остерман.

– Увы, всего двадцать два, – отвечал поэт.

– Но по уму гораздо больше...

После обеда Рондо отозвал Остермана в соседние покои:

– Ваш кандидат в послы при дворе Сент-Джемском вполне достойный молодой человек. Он разумен и знатен! Но я не могу не выразить вам сомнений в его возрасте. Ведь это же... мальчик!

– Двадцать восемь лет, – солгал с улыбкой Остерман. – Мы сорвали для вас, для англичан, самый роскошный цветок в России.

Рондо, стукнув башмаками, учтиво поклонился. Потом, расщедрясь, велел зажечь вокруг дома иллюминацию. Жена консула, леди Рондо, не тратя времени, взяла мужу толстые носки. Глаза ее посматривали с умом, блестяще. Она молчала, но умела слушать... Леди Рондо прибыла в Россию давно – женой посла, который умер; прибыл другой посол, она вышла за него, и он тоже умер; теперь прибыл Клавдий Рондо, она стала его женою. Англичане, как олимпийцы в эстафете, передавали вместе с делами посольства и жену, уже обывкшую в делах московских... Довязывая носок, леди Рондо слышала, как Остерман наставлял в уголку Кантемира.

– Россия, – шептал вице-канцлер, – еще не познала той силы, что кроется в печати европейской. Журналисты и газетеры тамошние имеют свободы кощунственные и пишут все, что в голову взбредет. А вам, мой друг, предстоит бороться с клеветой, которую они станут изливать на ея величество Анну Иоанновну...

Леди Рондо собрала спицы и, отозвав мужа в сторонку, предупредила его, какова роль Кантемира в Англии... Консул ответил ей:

– Он сломает себе лоб и ничего не добьется... Наша страна – свободная страна! Эй, люди, еще зажгите плошки на дворе!

Остерман, стоя возле окна, смотрел, как с шипением разгораются на заборах чадающие плошки, и незаметно загибал пальцы:

«Ягужинский, Кантемир... Теперь – Татищев!»

...

Царевна Прасковья Волочи Ножку (вдова генерала Дмитриева-Мамонова) однажды среди глубокой ночи заорала:

– Ой, понесла я! Понесла... – И тут же скончалась.

Генерал Ушаков принес царице «сожалительный комплимент» по случаю смерти ее сестры и отъехал налегке в Измайловское...

– Лаврентий Лаврентьевич, – сказал инквизитор старому врачу, – пятого человека из дому Романовых, говорят, уморил ты рецептами своими. Ея величество грозитя истребить тебя, ежели еще хоть едина персона дома царствующего через твое лечение помрет!

Ушаков насмердил страхом и отъехал, а Блументроста опять позвали в покои Дикой герцогини Мекленбургской.

– Кажись, – сказала Екатерина Иоанновна сумрачно, на постели сидя, – вновь забрюхателя я... Делай!

Блументрост упал на пол, весь сотрясаясь от рыданий:

– Ваше высочество, избавьте меня... Не могу, не могу...

Герцогиня пихнула его ногой.

– Делай! – сказала так, что из-за спины ее вдруг пахнуло на врача холодом застенка и качнулась угловая тень дыбы...

В эти дни на гололеди улиц московских споткнулся Тимофей Архипыч и помер сразу – напротив кабака Неугасимого. Анна Иоанновна восприняла смерть юродивого как горе всенародное. Велела с Тимофея Архипыча парсуну писать и портрет юродивого в спальне у себя повесила. Теперь, когда она грешила с Биреном, то из угла – сурово и строго – взирал на нее Архипыч...

Глава четвертая

Стали на Москве девки пропадать – русские, немецкие, калмыцкие и всякие. Сунет иная нос за ворота, тут ее – хватить, и увезут. А потом – ищи-свищи. Девка-то ладно, шут с ней, с девкой, но иной раз и нужна бывает. Особо, ежели мастерству научена...

Всех пропащих девок сыскали в гареме у Карла Бирена (того, что «инвалидностью украшался»). Граф Бирен был предельно возмущен.

– Ну какая скотина этот Карл! – фыркнул граф. – Надобно ему полк в командование дать...

А младший брат Густав все мунстровал измайловцев. Спасибо Жано Лестоку – парень верткий, вошел в дружбу с ним, и мунстра сего в Александрову слободу вытащил. Как только увидел Густав Бирен цесаревну Елизавету Петровну, так и забыл обо всем на свете.

– Хочу жениться, – заявил он брату-графу.

– Опомнись. Она же – цесаревна, а ты... Кто ты?

– А я хочу! – твердил Густав Бирен. – Ты ведь, Эрнст, желаешь породнить своего сына с принцессой Мекленбургской...

– Молчи, болван! Елизавета была невестой короля Франции, а ныне живет блудно с сержантом Шубиным.

– Но я – майор! – отвечал Густав. – Сержанту не тягаться со мною... И цесаревна со мной любезна!

Бирен побежал к царице, ища содействия. Анна Иоанновна очень зло поглядела на все село Александрово:

– Гнездо Петрово разорить надобно, а птенцов сих собакам бросить... Знаю я: все наговоры идут из слободы Александровой! Лизка престол из-под меня желает выдернуть? Ну-ну, тогда я из-под нее кровать выдерну. Единой просфоркой сыта будет!..

Алешку Шубина взяли в Тайную розыскных дел канцелярию.

– Ты кто таков, молодец? – спросил его Ушаков.

– Я есть Алексей Яковлев сын Шубин, а ныне сержантом при полку Семеновском состою...

Ушаков бровью повел. Каты сдернули мундир с полюбовника цесаревны, разложили на лавку телом. Десять плетей – для начала.

Встал сержант как ни в чем не бывало, только удивился.

– За што бьешь? – спросил. – Ну, был грех... Так без того греха кто проживет? Муха и та на муху летит и жужжит...

– Ты – не Алексей, а Иван, и родства не знаешь, – внушил ему Ушаков, для верности врезав Шубину кулаком – прямо в дых самый.

– Врешь! – обозлился сержант, мучаясь. – Я себя не забыл, меня каждый в полку моем ведает...

Двадцать плетей. Выдержал. Только орал шибко:

– А деревня моя – Курганиха, я есть оттудова!

Тридцать плетей... сорок... Сколько же он выдержит?

Голова упала на лавку, кровью забрызганную.

– Ванечка, – позвал его Ушаков, – Ванюшечка...

– Уйди, вошь, – прошипел Шубин. – Я себя помню. Урожден Алексеем, крещен в имени этом, а в Иванах мне не бывать!

Бросили в воду: ни встать, ни лечь. Томили парня во мраке. Без хлеба, без огарка свечного. Крыса и та не выжила бы! Потом снова на свет извлекли, и тянул Ушаков акафисты наисладчайшие... Но твердо помнил себя Шубин – кричал с лавки, истерзанный:

– У меня мамушка ишо жива... сестрицы на выданье...

- Ты есть Иван, а корню своего не ведаешь, - внушали ему.

- Врете - ведаю!..

Через срок опять приволокли в пытошную. Горел огонь.

На стене, что насупротив дыбы, висли клочья волос.

В крови, в мозгах, в кале человечесьем.

«Бедные, - пожалел Шубин. - Кто же страдал тут до меня?..»

- Кто ты есть? - спросил Ушаков, очки вздевая.

- Сам знаешь, - заплакал Шубин. - Чего мучаешь?..

Каты взяли банные веники - сухие, шелестучие. И те веники в огонь опустили. Одежонку велели скинуть и лечь.

- Ладно, - сдался Шубин. - Противу огня слаб я... Быть по-вашему, звери: Иван я есть, а родство не помню... Везите уж!

И повезли его - долго-долго, месяцами волокли через места пустые. Да все кибиточкой, да все под войлоком. И опомнился Шубин уже на Камчатке: стоял перед ним хиленький попик и держал обручальные кольца, дешевенькие...

Шубин повел глаза в сторону от себя - налево: о ужас-то!

Венчали его с камчадалкой - старой, дряблой и грязной.

Вынула она изо рта трубку и подмигнула слезливым глазом.

- Нисяво... нисяво... - сказала.

Заплакал он и продел палец в обручальное кольцо.

Первые годы все спрашивал, сидя сутками на берегу моря:

- За што? О господи, знаешь ли ты - за што?..

А потом и спрашивать перестал. И потекло время. Безжалостное. И забежали в чуме дети. Не цесаревнины. Камчадальские.

Были они, эти дети, очень на Шубина похожие. Там, с детьми своими на берегу моря играя, Шубин забыл русский язык...

...

До большого колокола Ивана Великого, от самого Красного крыльца кремлевского, протянули канат длиннющий. А высота-то - ну и высота же! Шапка падает... И на канате том, над головами мужиков и баб, плясал босой персианин. Потом выкатили на площадь бочки с вином. Анна Иоанновна на крыльцо вышла, бросала медяки в народ, празднуя, что от Гиляни избавилась.

- А вину, - крикнула в толпу, - даю употребление вольное!

Сие значило: коли до бочек живым пробьешься, то пей вволю, сколько душа примет. Перс-канатоходец видел со страшной высоты, как ринулся площадной народ в свалку... Стража потом питух разогнала, со дна бочек изъяли мокрые в вине шапки - утопшие.

- Эй! - трясли шапками на площади. - Чей треух?

Никто не признавался: как бы не попало. Перс еще долго плясал в розовом вечернем небе, потом спустился вниз. А императрица выходила слонов встречать. Как танцора, так и слонов прислал ей в подарок Надир за уступку Гиляни... Надир, звезда которого быстро разгоралась на Востоке, оказался очень хитрым дипломатом: пусть Россия поможет ему турок изгнать, или... Или пусть сама уходит из Персии! Остерман решил, что лучше уйти.

Артемий Петрович Волынский появился в царском Анненгофе, вполне прощенный. Держался скромником, остро поглядывая на Остермана. Прожигал его насквозь своими глазами, и Остерман не выдержал:

– Артемий Петрович, небось до меня нужду какую имеешь?

Волынский нагнулся и – в ухо кабинет-министру:

– Ночь-то, граф, черная. Вода в каналах темная. Плывите и далее. Но себя щупайте: уж не дьявол ли вы?

Намек был неприятен Остерману, и он отъехал на коляске.

– Озорник, – сказал издали. – Богохульство ваше ни к чему...

Раздался грохот ботфортов, кованных плашками из меди. Во дворец Анненгофа прибыл фельдмаршал князь Василий Долгорукий.

– Что слышу я? – спросил, озираясь. – Нешто правда, будто Гилянью обратно хотят отдать? Кто зло сие придумал для России в бесчестие? Кто?

Остерман притих в колясочке. Из покоев своих величаво, шажками мелкими, выступила императрица:

– Чего кричишь, маршал? Или тебя обидел кто?

– Не меня, не меня... То русского солдата обидели!

– Да будет тебе, – отмахнулась Анна Иоанновна со смехом. – Разве же я русского солдата обижу когда?

– Выслушай, великая государыня! Семь потов в тех землях сбрызнуто, семь кровей пролито... Россия встала на море Каспийском ногою твердою! Лежат от Гиляни шляхи прямые – на Тегеран, Шахруд, Герат, Кандагар... Так почто же дарить задарма обратно? Добро бы соседу хорошему... А то ведь – кому? Надиру! Разбойнику!

- Уйди, - велела Анна, - от крику твоего голова болит...

Фельдмаршал развернулся и заметил Волынского.

- Друг Артемий, - слезно взмолился старик, - ты русским послом был в Персии, так скажи: разве можно кровью завоеванное за канатного плясуна да слонов отдать? Земли-то каковы, сам ведаешь! Русь чрез те завоевания богатство вечное обрела, она морем плывет в Индию... Сердце наше в Европе колотится, но телом большим мы по Азии разлеглись. В делах восточных укреплять себя надо, а не транжирами быть глупыми...

Волынский решил Остермана не щадить: теперь он снова силу обрел - за ним ведь граф Бирен стоял (с конюшнями его, с аргамаками его). И он так отвечал - во всеуслышание:

- Согласен я с тобою, фельдмаршал: придворные той крови и того поту не нюхали... Чужакам ничего не жаль! А вот нам... эх!

Остерман съезжился на дне своей коляски.

- Это вы, - выкрикнул, - преступно повинны в том, что моря крови русской пролиты на Гиляни... Ради чего?

Фельдмаршал Долгорукий схватился за коляску:

- Кровь ради отечества пролита... чурбан ты немецкий!

И вдруг покати Остермана... Все быстрее, быстрее!

Впереди уже двери. За ними - арапы дежурят.

Выбил коляской двери, повалив арапов, выпихнул Остермана прочь из зала... Граф со своей колесницей так и врезался в стенку.

Тут к нему угоднически, как собачка, подбежал принц Людвиг Гессен-Гомбургский:

- Ваше сиятельство, неужели... Неужели простите?

Остерман посмотрел на него - снизу, тяжело:

- Вы... ничтожество! Остерман не таков, как ваша сомнительная светлость: он никогда ничего никому не прощает... Можете подойти к фельдмаршалу и сказать, что дни его сочтены! А в этом поможете мне... вы, принц! И не отказывайтесь, - усмехнулся Остерман. - Жезлы фельдмаршала на улицах не валяются. А вам, ничтожество светлейшее, этот жезл еще пригодится...

- Мне? Какое счастье! - замлел принц.

- Да, - покривился Остерман. - Этой палкой вы будете хвастать потом перед дамами, рассказывая о своих подвигах!

...

Собрались одни только русские - чужаков не было: сам фельдмаршал Василий Владимирович, адъютант Егорка Столетов, племянник Юрка Долгорукий, прапорщик Алексей Барятинский и жена фельдмаршала Анна Петровна (старуха уже). Сначала жулярский чай попивали, потом маршалу воду гонять прискучило, он чашку ополоснул от чая:

- Травка сия вино не товарищ... Эй, Юрка! Плесни винишка...

Племянник разлил вино, стали тут все пить, руками махали.

Егорка Столетов так сказал:

- Петр Первый сквалыга был: он не отдал бы Гиляни!

- Не, - отвечал князь Алешка Барятинский, - он был таков, что из-за копейки давливался. Да и других до смерти давливал!

Фельдмаршал грохнул кулаком по столу – заходили чашки:

– Я Петра не люблю[1 - В.В. Долгорукий (1667–1746) – принадлежал к старобоярской партии, был врагом крутых реформ Петра I, за связь с царевичем Алексеем в 1718 г. поплатился ссылкой, генерал-фельдмаршал с 1728 г.; несмотря на консерватизм, был честным патриотом и храбрым воином. Советская историография высоко оценивает его боевые заслуги. В царствование Елизаветы князь В.В. Долгорукий, уже глубоким стариком, возглавлял Военную коллегию, и ему пришлось, после засилия немцев, заново восстанавливать армию на русских началах.], он немца на Русь призвал. И учить меня пожелал. А я и без того дураком не был... От Петра и полезла на Русь тоска бумажная: куды ни сунешься, везде про тебя в бумажку пишут. Я за один день при Петре столько бумаг писал, сколь ранее и за год писать бы не привелось...

Егорка Столетов налил себе еще, выпил и рот вытер:

– Эх, что уж тут! Петр зато просвещать стал...

Фельдмаршал тут его по лбу треснул.

– Вранье! – сказал. – Это все немчура придумала, что Русь до Петра была дикой, а они явились, как советники, и просветили нас! Немцу хлеб сожраный оправдать надо – вот он и придумал сие... Неправда это! Россия и до Петра не блуждала в потемках. Василий Голицын, Ордын-Нащокин, Ртищев, Матвеев – люди были ума зрелого, разума высокого... И русские человецы задворками ума до Петра не ползали. Россия и ранее на столбовой дороге стояла. Европа-то сама могла бы у нас многому поучиться...

– Подъехал кто-то, кажись, – сказал Барятинский.

– Выглянь, Егорушко, – попросила старуха княгиня.

Егорка Столетов в окно поглядел.

– Принц, – сказал, зубы скаля. – Принц на крыльцо поперся...

– Какой принц? Их теперь на Руси развелось, что нерезаных собак.

- Да тот, матушка-княгиня, что к дочке Трубецкого сватался.

- А-а-а, - догадалась старуха, - это Гессен-Гомбургский... Небось дома-то жрать нечего, так по Москве ползает, харчей ища... Что делать-то? - поднялась Анна Петровна. - В сенцах темно. Эй, Ванька, Мишка! Кто там не спит? - позвала слуг. - Посветите принцу свечечкой...

Барятинский-князь загыгыкал, говоря:

- Ништо! Свечки жаль - такому обормоту светить. Пущай бы впотьмах себе ноги ломал... Ги-ги-ги-ги!

Юрка Долгорукий запуган казнями был.

- Дяденька, - шепнул он фельдмаршалу, - вы бы потише, а то принц сей в доводчиках ходит... Сказывали мне, будто на ваше место метит: в коллегии военной президента!

- А я в своем дому на лавке дедовской сажу! - разбушевался Долгорукий. - С коих это пор русские люди, чтобы поговорить, должны на двор выбегать? Или не стало чести более?

Вбежал казачок со свечкой. За ним, кланяясь, вошел принц Людвиг Гессен-Гомбургский: спереди на него глянешь - лицо, как топориче, сбоку зайдешь - будто лошадь. К столу принц разлетелся, Егорка Столетов подвинулся, лавку освобождая... Уселся принц.

- Ныне, - заговорил, - его сиятельство опять понтировать немало изволили. И столь успешно, все диву давались...

- Какое еще там сиятельство? - спросил фельдмаршал.

- Граф Рейнгольд Левенвольде, - пояснил принц.

- Таких сиятельств не знаю, - отвечал фельдмаршал.

- Васенька... - взмолилась жена.

– Цыц! – рявкнул в угол старик. – А то всех сейчас поразгоняю по шесткам да закуткам... Егорка, брызни винца прынцу!

Долгорукий пряник разломил пополам, бросил кусок его принцу:

– Вот тебе закусь... Как раз по твоим зубам!

– Васенька... – снова умоляла жена.

– Не перечь, – отвечал ей фельдмаршал.

Принц Людвиг привык: его уже давно за человека никто не считал. И не только русские, но даже немцы его шпыняли как могли. Винцо он выпил, грызнул пряничка тверского. И разговор, как умел, так и продолжил:

– Теперь войска с Гиляни до самой Куры отведут...

Вот тут и началось: поднялся Василий Владимирович князь Долгорукий во весь рост, страшен в гневе.

– Не отдам! – сказал. – Там кровь моя, там Россия столько голов сложила... А она, записуха митавская, только приехала сюда, а уже Русь по лоскутьям рвать стала... Вот ты, – обратился он к принцу, – поди и передай ей так: фельдмаршал старый, и он не отдаст... не отдаст Гилянью! Сколь веков стремилась Русь на Каспий выйти? И все – прахом? Туды-т вашу всех, мак-размяк... у-у-ух!

Вскочил Юрка Долгорукий – он всего боялся теперь, словно заяц. Да и женился недавно (не дай-то бог, от греха подальше). Он сразу за шапкой кинулся.

– Племяш! – остановил его фельдмаршал. – А ты куды?

– Простите, дяденька... час поздний.

– Сядь! И ты, Егорка, чего вскочил? Сядь тоже.

Принц было поднялся, но фельдмаршал и его усадил властно:

- Не разбегаться, души тараканьи... Еще вина выпьем!

И вдруг - из-за спины - сказала жена фельдмаршалу:

- Ишь разорался... Не ты ли спяна и выбрал Ивановну в царицы?

- Не Ивановну, а... Задрановну! - поправил жену фельдмаршал.

Принц, скоренько дожевав пряник, поспешил откланяться...

Поздненько уже было (во дворце все спали), когда Анну Иоанновну разбудил дежурный камергер:

- Ваше величество, дело важное - государево!

На цыпочках вошел принц Людвиг Гессен-Гомбургский:

- Великая государыня, почту своим священнейшим долгом, как то положено благородному человеку... Желаю донос сделать на фельдмаршала Долгорукого! Не знаю, как перевести это слово на немецкий, во французском такого слова тоже не сыщется...

- Ну-ну, прынец! Говори скорее... не томи душу мою!

- Задрановна вы, а не Ивановна!

- Это я-то, хосподи?

- Именно так сказал о вас фельдмаршал...

- Гей, гей, гей! - взревела Анна. - Сыщите немедля Андрея Иваныча... Гей, гей!

Ушаков, словно хороший швейцар, всегда был рядом.

– Долгоруких извести под корень! – наказала ему императрица. – А тех, что выживут, никакой грамоте не учить. В школы и в науки не определять. Служить им только солдатами и матросами. В гарнизоны дальные всех! В степи, в леса, в пустыни... Погоди ужо, – погрозила кулаком в угол, – даст бог, и до Голицыных доберусь! Больно все умны стали... Загордились! Книжки читают, даже бабы читать стали... Ну, я им почитаю! Мучители мои... Бесстыжие! Философы окаянные, чтоб вы передохли все!

...

Начало указа Анны Иоанновны было таково:

«Явились некоторые бессовестные и общаго добра ненавистные люди, а именно: бывший фельдмаршал князь Василий Долгорукий, который, презря нашу к себе многую милость и свою присяжную должность, дерзнул не токмо непристойным образом толковать наши учреждения, государству полезныя, но и собственную нашу императорскую персону поносными словами оскорблял... Да еще бывший гвардии капитан князь Юрий Долгорукий, прапорщик Алексей Барятинский, Егор Столетов, тоже явились к повреждению общаго покоя и благополучия...»

...

Старого фельдмаршала ввели в пытошный застенок.

Руки наыверт, хрип, страх, боль! – висели на дыбах, к потолку подтянутые, три его гостя: племянник Юрка, адъютант Егорка Столетов и Алешка Барятинский, на огонек в гости забежавший...

Ушаков сказал фельдмаршалу – без видимой злобы:

– Василь Владимирович, покайся...

Фельдмаршал бельмо ладонью прикрыл. Смотрел одним глазом. Корчились гости его, стекал по телам их пот – едучий, нездоровый, пот от боли, от огня, от страха.

– Что ты делаешь, зверь? – сказал фельдмаршал Ушакову и вдруг закричал: – Робятки мои! Почто вам мука така дадена? Валите все на меня... на меня одного! И стыда в том не имайте: я старик крепкий – я все выдержу...

– Горды вы, Долгорукие, – заметил Ушаков. – Но мне велено свыше весь куст ваш из Москвы вырвать.

– Вырывай! – гаркнул фельдмаршал. – Долгорукие Москву основали, ты помни об этом. Имени князя Юрия Долгорукого, зачинателя Кремля Московского, как ни тужись, а из гиштории российской не отринуть... Меня ты вырвешь с кустом вместе, но корень наш в памяти народной останется!..

Остерман теперь был владыкой в России.

– Все смерти лютой достойны, – сказал он.

И судьи покорно подписали: смерть – через топор палача.

...

Конец указа Анны Иоанновны был таков:

«Однако же мы, по обыкновенной своей императорской милости, от той смертной казни всемилостивейше их освободили. И указали: отобрав у них чины и движимое и недвижимое имение, послать в ссылку под караулом. А именно: князь Василья Долгорукого – в Шлиссельбург, а прочих в вечную работу: князь Юрья Долгорукого – в Кузнецк, Барятинского – в Охотский острог, а Столетова – на Нерчинские заводы».

Графу Бирену стало жаль старого, заслуженного ветерана.

– Анхен, – вступился он за Долгорукого, – фельдмаршал весь изранен в битвах, он уже близок к смерти. Ему не вынести крепости, о которой даже говорить страшно! Помилуй его... Анхен!

– Миловать врагов не стану. А коли ты (сам ты) за него просишь, так и быть: пусть возьмет в крепость пять рабов своих, дабы они, за старостью его и болячками, уход за ним имели.

О том царском решении донесли фельдмаршалу.

– Мои рабы, – отвечал старик, – и без того худо жили. Не повинны они, чтобы за господина своего кару нести! И рабов, к заточению назначенных, отпускать на волю... Прочь из рабства!

А жена его Анна Петровна две тарелки на стол – бряк, две ложки – бряк.

– Куды мне по две? – хмыкнул Долгорукий. – Мне в Шлюшинской[2 - В разговорной речи XVIII века Шлиссельбург, город и крепость, назывались Шлюшином.] тюрьме гостей не принимать... Клади по одной!

– А я что? – ответила жена. – Ты ложкой есть будешь, а я пясткой шти хлебать стану?

Старая княгиня поехала за мужем в казематы. Везли их, стариков, по слякоти, гладила она руку мужа:

– Суета сует, Василья Владимирыч! Помяни ты, что на кольце у царя Соломона вписано было: «И это пройдет...»

Анна Иоанновна подивилась смелости княгини.

– Во спесь-то где! – сказала, дыша злобой. – Ну, ништо ей, дуре старой... Привыкла небось пироги с изюмом жрать? Пушай же отныне в крепости посидит на мышиной корочке!

Так закончилась месть императрицы за кондиции.

Но Феофан Прокопович предостерег ее в ближайшее свидание:

– Гляди не остывай от злости, матушка! Рукава-то засучи повыше да крови людской не бойся... Вся церковь за тебя станет молиться. Избу ты поломала. А в щелях еще сидят сверчки да о конституциях посвистывают... Огнем их, матушка! Огнем выжигай, только один огонь все вычищает!

...

Умер Голицын, заточен Долгорукий... Теперь в России остался лишь один фельдмаршал – князь Ванька Трубецкой, трус, заика и пьяница, воевать совсем не умевший. К уроненным жезлам кинулись два претендента – Миних и принц Гессен-Гомбургский. Но только было нагнулся принц, как его грубо отпихнул Миних:

– Вам еще рановато, принц. А вот мне этот жезл кстати...

Миних стал фельдмаршалом, генерал-фельдцейхмейстером, обер-директором фортификаций, Военной коллегии президентом, полковником полка Кирасирского, кадетского корпуса аншефом. От почестей и чинов его разрывало, как и от проектов разных.

Остерман спать не мог от зависти (обдумывал уничтожение...)

Но Миних собаку главную дразнить не желал и быстро сошелся с графом Биреном; их дружбу подогривала обоюдная страсть к древним монетам. В «минцкабинете» Миниха граф Бирен обнаружил монеты, каких у него не было. Но зато они были в коллекции у Кристодемуса (врача и философа из Риги).

...Двор постепенно перебирался в Петербург.

Глава пятая

Родила царица в ночь,
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.

А. Пушкин

Выло в трубах всю ночь, словно в Кремль забежали волки.

Не спали... Караулы были сдвоены. На лестницах – строены.

Анна Иоанновна надела под робу себе кирасу. Бронзовую.

Наступал момент – исторический.

Россия съежилась за окнами Кремля – застуженная. Обвита метелями,
занесенная снегами... Тишина над Москвой, тишина.

Анна Иоанновна выпила для храбрости большую чару вина.

– Зачнем? – спросила. – Дай-то, боже, управиться!

Дикая герцогиня Мекленбургская кинулась в опочивальню, где спала дочь ее – маленькая принцесса Елизавета Христина, лютеранка (так и не удосужилась еще перекрестить ее). Екатерина Иоанновна выдернула дочь из постели. Та проснулась, захныкала. Русского языка не ведая, говорила с матерью по-немецки.

– Куда меня? – терла глаза девочка. – Я спать хочу...

– Вставай, хвороба! – отвечала ей мать по-русски. – Коли не привел господь бог мне на престол восстать, так теперь ты, моя поросль, сядешь!

– Не хочу на престол... я спать хочу...

Принцессе дали хорошего подзадника, чтоб не ревела, и одели ее потеплее. Мать грохнула перед ней ларец с изюмом персидским:

- Грызи, несчастье мое! - И вышла, как солдат, руками размахивая, сама толстая, как бочка... Близок момент исторический.

...

В кордегардии - двое: майор Волков и Ванька Булгаков, секретарь полка Преображенского. Обоим скушно, а спать нельзя.

Булгаков зевнул наисладчайше - аж скула хрустнула.

- Слышь, - сказал, - майор Альбрехт... тот самый, что за Фика именье Котлы получил от государыни под Ямбургом...

- Ну? - спросил Волков, и кость бросил: пять зерен.

- Ныне он доимочную дирекцию на Воронеже справил...

- Правежничал, сволочь? У моей тетеньки, - припомнил Волков, - деревенька как раз там... уж така она разнесчастлива!

- А дело прибыльное, - досказал Булгаков.

- Рази? - Волков спросил, и - бац кость: три зерна.

- Оно так и есть, - продолжал Булгаков. - Потому как ныне с помещика дерут так же, как с мужика. Не дал мужик - трясут дворянина, дворянин не смог доимки справить - воевод в железа куют, голодом их морят. И тое дело для дирекции недоимочной выгодно... Ты про таку гниду Лейбу Либмана слышал ли?

- Кто о нем не слыхивал, - ответил Волков.

– Вот! А ныне к нему так не пройдешь. Офицеры к нему стоят в очередь по списку. И на руку ему кладут...

– За што кладут-то? – смигнул Волков.

– Экий ты дурень, майор! Да ведь каждому на правез попасть желательно. Что с мужиков, что с усадебки, что с воеводы... Глядь, и богатым вернулся! Вот той дирекции и добиваются. А фактор Лейба Либман за то деньги берет... Осознал?

– А-а-а, – протянул Волков и опять бросил кость. – Пять зерен! На кухни сходить, што ли? – размечтался. – Да ковшик водочки царской задарма выпить? Или уж завтра?.. Не, схожу...

Только Волков поднялся, как вошел лакей дворцовый:

– Сударь, вас наверх просят идти. В чем стоите – сразу!

– Непорядок, видать, – сказал Волков и побледнел...

Темны углы. Страшны повороты. Дворец – словно гроб, и столь гулок, что берет оторопь. Лакей впереди шел со свечой, офицеру путь освещал. Из мрака блестели белые зубы да чалмы белели – это два негра у дверей стояли.

Двери – настезь, и вот... сам граф Бирен.

– Маеор фон Фолкоф, – сказал по-немецки, дружески за локоть офицера беря. – В четыре часа полки регимента и генералитет должны быть здесь... Пушки! Чтобы все улицы имели по пушке. И чтобы все было исключительно тихо.

Волков кивнул согласно. «Видать, мунстр?»

– Стойте, – задержал его Бирен. – Я догадываюсь, что вы меня не так поняли... В четыре часа ночи! Ночи, а – не дня!

Тут Волкова затрясло:

– Ваше сиятельство, какова причина тому? Полки – не дети малые: их так просто не подымешь!

Бирен загородил Волкову дорогу, которая – через покои его жены-горбуны – вела прямо в спальни императрицы.

– Куда вы? – спросил настороженно.

– Я должен видеть ея величество, – ответил Волков.

– Не советую... Я сам не знаю причины сбора полков, но ея величество тревожить не смейте... Итак, в четыре! Ночи...

И по Москве пошли войска, батареи расставили пушки на перекрестках. Преображенцы, семеновцы и преторианцы полка Измайловского были построены перед дворцом. Заиндевели усы, застыли ноги, всю ночь не отпускали.

Говорить не давали. Слово сказал – тебя палкой: бац!

Однако же – говорили.

– Пошто стоим-то? – шепотом.

– Заваруха, видать, какая-то...

– Ша! Как бы не обвели нас, братцы.

– Да уж куда еще обводить-то? И без того обведены...

Бац – палкой! – снова тишина, стужа, ночь, звезды.

И вот – рассвет... Старших офицеров регимента стали звать в апартаменты, а младшие так и остались на дворе мерзнуть. И были тут собраны люди кабинетные; духовенство; генералитет; вельможи первых трех классов. Бирен стоял за спиной императрицы, косо посматривал... Все видели, как он подтолкнул вперед Анну Иоанновну, и та шагнула вбок – словно пьяная.

– Россия-то, поди, едва не погибла? – начала императрица. – А все отчего? Сами ведаете; не было престолунаследствия порядка дано законного... О конституциях по углам посвистывали!

Склонились тут выи придворные; свисали пудренные парики до колен и ниже, в трехрядку собрались тупые тевтонские затылки, тряслись жирные брыли щек, плохо выбритых.

– Мудрость-то! – плакал фельдмаршал Трубецкой. – Какова мудрость-то, матушка... Так и светишься ты вся!

И медленно все выпрямились (один Бирен не кланялся).

– Вспомните, – продолжала Анна, – сколь Россия настрадалась от злодеев, когда Петр передо мною помер милостию божией... То-то! Не тогда ли и кондиции те задумали? Ныне же тому не бывать, чтобы заветы предков моих рушить. А дабы Русь от злодейств в будущем предотвратить, полагаю наследника престолу еще при жизни моей назначить...

Маленькая принцесса Мекленбургская выступила из дверей, и Анна Иоанновна взяла ее на руки.

– Вот племянница моя! – сказала, подняв ребенка над собой. – Да будь благословенно чрево ее, которое породит в возрасте. И то, что породит она чревом своим, тому и быть на престоле прародительском, престоле Российском... Такова воля моя, самодержавная!

И заставили присягать. Тут же, пока не одумались.

Великое смущение было... кому присягать?

Тому присягать, что родится.

Когда родится? – Родится, когда родится.

А что родится? – Тому и быть на русском престоле.

Высшие чины империи присягали неведомо кому...

На штыках! Пока не рассвело. Во мраке.

Впрочем, никто не осмелился возразить.

...

Этим незаконным актом о престолонаследовании Анна Иоанновна открыла дорогу для тронных переворотов, и они пойдут теперь своей исторической чередой: Анна Леопольдовна умрет в Холмогорах, сын Иоанн, порожденный ею, будет зарезан в Шлиссельбурге, Петра III проткнет вилкой бравый Алешка Орлов, а Павла I задушат в спальне офицерским шарфом, снятым с шеи поэта Сергея Марина...

Эта ночь не пройдет даром для династии Романовых!

Глава шестая

С утра на Дворе монетном залили металлом расплавленным горло трем фальшивомонетчикам. Двое сразу умерли, а третьему металл, дымясь, через горло прошел насквозь и в землю вытек...

– А все отчего? – сказал Татищев. – Все оттого, что деньги нашу легко подделать. Надобно деньги выпускать не лепешками, а шариками, как горох. Тогда фальшивых менее станется, ибо круглую монету подделать трудней без ущерба ей в качестве фабричном...

В деньгах Татищев докой был – недаром при Монетном дворе состоял. Вот и сегодня пришли скупщики серебра, ударили перед ним в четыре тысячи червонцев. Да еще руку Татищева поцеловали:

– Уж ты прими, кормилец наш, на зубок себе. Да зато не волокитничай, когда серебришко в монеты перестукаешь...

Татищев взятку захапал, а себя извинил словами из писания священного: «...делающему мзда не по благодати, а по делу!» Мол, беру за труды свои... Василий Никитич был казнокрадец удивительный, из особой воровской породы – ученой! При Петре Первом он даже составил особый регламент, по каким статьям можно брать взятки: «1) Ежели за просителя работал после полудня, чего делать по службе не обязан, ибо в жалованье не ставится; 2) Ежели дело не тянул справками и придирками и 3) Ежели решил дело тяжebное не в очередь, а скоро и честно, в выгоду просителя и отечеству не в убыток»...

– Разумная любовь к самому себе, – утверждал Татищев, – уже есмь самая великая добродетель, и философия сии слова утверждает...

Монетное же дело, которым он ведал, расхлябалось: шатко время было – оттого и деньга в народе шатка.

Теперь новое дело выдумали: рублевики чеканить.

– Оно бы и неплохо, – доказывал Татищев канцлеру Головкину, – да вот беда: мужику нашему рублевик и во сне не приснится. А коли мелкие деньги изъять в расходе, так мужик наш завсе из финансов государственных выпадет. Ведь на рубль только богатый человек торговать может, а простолюдинам мелкая деньга необходима... Копейка там, осьмушка опять же – мелочь по рукам ходит, рубли собирая!

Мудрому совету Татищева не вняли: решили чеканить серебро крупно – богатым это удобнее (копить легче), а мужику совсем гибель. Так-то вот сидел Василий Никитич и рассуждал о деньгах, когда навестил его обер-гофкомиссар Лейба Либман и удивил вопросом подозрительным:

– На лигатуре монетной большой ли доход себе имеете?

– Проба разная, – уклонился Татищев. – Была всякая, да и весы плохие... Ныне семьдесят седьмую желательно.

– О! – сказал Либман. – Это много... А кто учтет?

– Я и учту, – скромно отвечал Василий Никитич.

– А кто проверит?

– Я и проверю...

– Хм, – призадумался Либман. – Между прочим, – сказал, – одна некая особа, при дворе известная, плутни монетные достаточно знает. Не угодно ли вам с особой этой в кумпанство войти?

– Я сам себе кумпанство! – обозлился Татищев.

– Вот оно и плохо... Без друзей вам будет трудно жить.

Василий Никитич неладное почуял: «Вот и под меня копать стали!» Ключи он взял (а ключи – словно пистолеты, громадные). Этими бы ключами да – по морде, по морде... Однако себя сдержал.

– Извольте, – предложил учтиво, – за мною следовать. Интерес некоей особы, при дворе известной, могу уважить серебром, еще от князя Меншикова оставшимся... Ныне же мы тем серебром горло фальшивым монетчикам заливаем публично!

– И – как? – полюбопытствовал Лейба Либман.

– На себе еще не пробовал, – отвечал Татищев...

Проследовали они через плющильню. Мужики-бойцы давили проволоку. Глухо роптали водяные мельницы, вздымая вверх печатные «бабы». Потом «бабы» враз падали, чеканя деньги, и стены гудели. А мальчишки-ученики, словно котята лапками, быстро выбирали готовую деньгу (еще горячую). «Баба» ухала с высоты – почти по пальцам детей. Но – ловкие! – они убористо справлялись.

– Забирай, – крикнул мастер, и мимо Либмана протянули ящики, полные новых серебристых рублевиков...

Татищев ключами-пистолетами отворил замки на дверях потаенных. Открылась камора – полутемная. Под ногами фактора зачавкало что-то – грязь вроде? Но та грязь и слякоть текла из-под груды серебра, что лежало здесь, химически разлагаясь, словно труп.

– Не такова ли участь всех князей земных? – изрек Татищев, подняв с полу черную несуразную глыбу. – Вот, сударь, и все, что осталось от князя Меншикова, и сим добром могу войти в кумпанство с особой некоей...

Эта «некая особа» с утра была в настроении поссориться, а тут и фактор пришел. Поставил Лейба перед графом тарелку. В тарелке же – нечто страшное, бугреватое, словно гнилое мясо. И течет по столу слизь зловонная.

– Что за мерзость ты притащил? – заорал Бирен на Лейбу.

– Не мерзость, граф. Это серебро в сплаве с мышьяком, из коего всемогущий Меншиков монету свою чеканил...

– Вор! – крикнул Бирен в досаде.

Либман подумал: «Кто вор?.. Я? Татищев? Или сам граф?»

– Меншиков и поплатится за воровство, – ответил Либман, заплетая слова в хитрую канву. – Но господин Татищев сие серебро шлет вам в презент... Каково? Может, сразу в окошко выкинем?

Бирен осатанел от ярости: ему и... эту грязь?

– Татищева давно надо судить, – сказал.

– Он умный господин... За что судить? За ум?

– Был бы человек, – ответил Бирен. – А вина за ним всегда сыщется. И замолчи про ум: что-то больно уж много развелось умников!

Либман взял со стола тарелку с серебром.

– И это... все? – спросил, прищурясь. – Не может быть, чтобы после князя Меншикова, такого богача, ничего не осталось!

Лицо Бирена напряглось, челюсть дрогнула плотядно:

– Да... Ты прав: куда все делось после Меншикова?

– В самом деле, – просветлел Либман, – разве мы не сможем узнать, где хранятся миллионы Меншикова?

Татищева скоро притянули к суду, и он понял: мстят ему, что не поделился барышами с Биреном... Ушакова он спросил напрямки:

– Невдомек мне, и тужуся – в чем вина моя?

– Ах, Никитич, неужто сам своих вин не ведаешь?..

К монетным делам уже подбирался Миних, жадный до всего на свете, и Василий Никитич махнул рукой, стал умолять Ушакова:

– Да на што я вам? На што инквизиция? Коли неугоден стал, так, не мучая, сразу сошлите в Сибирь к делам горным...

– Сибири тебе не миновать, – утешал его Ушаков. – Но погоди, не суетись. Сначала ты нам душу открой: каковы помыслы твои были в году тридцатом, когда кондиции писались и ты крамольно о женском правлении изрекал?

...

Городок сибирский Березов – место гиблое, ссыльное.

Смотрела Наташа в оконце – в кругляк тот самый, что был в стене еще Меншиковым прорублен. Синел вдалеке лесок, пролетали, как в сказке, гуси-

лебеди да курились над «чарусами» трясин синие колдовские туманы. Тишина да снег... Горько!

И никто Наташу не любит. Вот свекровь, Прасковья Юрьевна, та – да, жаловала; но она умерла, бедная, как в Березов приехали. А прочие Долгорукие – звери лютые, глаза бы их не видели. Алексей Григорьевич шпыняет, золовки щиплют, князь Иван жену в небрежении держит. «Эх, Иванушко! – думалось. – Душенька твоя слабенькая... Когда ходил по Москве в золоте да парче, когда при царе состоял, так был ты высок и статен! А ныне – грошик цена тебе: пьян с утра до ночи, соплив да слезлив...»

Не раз брала Наташа Ивана за голову, к груди прижимала.

– О чем плачешь, друг мой? – спрашивала. – В Сибири-то, под штыком сидючи, апелляции нету. Ну сослали... Ну обидели. Так не мы едины в печали своей: вся Русь таково жить стала. Погоди, друг любезный, цари тоже не вечны, а мы еще молоды... Гляди на меня – я ничего не боюсь! Все выживем, все переборем!

А выжить было ей трудно: Долгорукие сами дом острожный заняли, а Наташу с Иваном в сарай выкинули. Когда первенец родился, молоко в чашке мерзло. Второй родился (Борисом нарекли), от холода посинел и умер. А старшенький рос – его Михаилом назвали, – вот одна радость Наташе: мальчик!

Она его своей грудью вскормила и так ему пела:

У кота, у кота

колыбелька золота,

а у Мишеньки мово

и получше тово.

Потягушечки, потягунушки!

Ножки-то – ходунушки,

а в роток – говорок,

а в головку – разумок...

Вечером позвали в дом острожный – ужинать. Пошла. Сидела там под иконами порушенная невеста царская – Катька! Пыжилась и манерничала. Того не хочу, этого не желаю. Около нее восседал на лавке глава семейства, князь Алексей Григорьевич – худ, страшен, бородат. За ними рядом теснились прочие чада: Николка, Алешка, Санька да дщерицы – Анька с Аленкой. Наташа поклонилась, с уголка присела. Ей, как собаке худой, пустили миску с кашей по столу – вжик! Глаза она опустила и стала есть...

Алексей Григорьевич потом сказал – на весь стол:

– А князь Иван-то где?

– Заутре еще уволокся, тятенька, – отвечала Наташа свекру. – И где запропал – того неведомо мне.

– Хороша ты сыну моему супружница, что даже не ведаешь, где муж пропал, – буркнул старый Долгорукий. – Кажись, не на Москве, а во Березове-городке живем: домов тут не шибко выросло, могла бы и вызнать, в коем князь Иван пропадает... Может, покудова ты тут кашу с маслом трескаешь, он с казачкой местной слубился!

И стали все, на лавках от удовольствия прыгая, изгиляться в смехе гыгыкающем. А Катька (гадюка сладострастная) добавила яду:

– Шереметевы испокон веку таково живали: муж от жены, а жена от мужа. Разве не знаете, тятенька, что и matka еёняя спилась на винах сладких да мужа-фельдмаршала до сроку в гроб вогнала?..

Наташа ложку на стол брякнула. И – в двери; вышла на острожный двор, посреди которого копанец был, вроде ставка, где по весне лебеди купались. Стоял в воротах солдат – старенький, ружьецо обнимал, словно палку. Наташа, щеками пылая, прямо на него шла, слезами давясь. А солдат был ветеран – он фельдмаршала Шереметева помнил и чтил. Ну как тут дочку его не выпустить?..

– Иди, иди, касатушка, – сказал ветеран. – Погуляй.

И выпустил из острога в город. А городок Березов дик и печален: осели в сугробах избенки, сверкают льдины в окошках (стекол тут и не знали). Лают собаки, плывет дым, и ничего здесь не купишь, даже калачика. А за пуд сахара кенарского плати девять рублей с полтинкой, – в России на такие деньги мужика с бабой обрести можно... Слезы пряча, шла Наташа через весь город.

Вот и дом, где живет отец Федор Кузнецов – поп березовский. Попадья Наташу в горницу провела, а на лавке спал пьяный поп Федор (человек он был добрый и очень хороший).

– Гляди! – сказала попадья, на мужа указывая. – Во, драгоценный адамант да яхонт мой валяется... Насилу до дому его доперла. А и твой брильянтовый тоже тамотко – у Тишина гуляет!

Через весь Березов, постылый и окаянный, побрела Наташа к подьячему Осипу Тишину. А там – будто кабак скверный: чадно, пьяно, угарно. Сидят рядком-ладком пьяницы березовские: сам Тишин, дьякон Какоулин, обыватель Кашперов да Лихачев Яшка, посередке же – Иван ее, князь Долгорукий, супруг сладостный.

Тишин сразу княгине стаканчик оловянный с винцом стал в губы тыкать: пей да пей, госпожа наша! И плясали вокруг молодухи дьякон с обывателем. И соловьем разливался атаман Яшка Лихачев – вор (из детей боярских), за разбой кровавый в Сибирь сосланный:

Ты изюминка, наша ягодка,

Наливной сладкой яблочек,

Он по блюдцу катается,

Сахаром рассыпается...

Наташа рвала Ивана от сопитух, тащила прочь:

– Пойдем, Иванушко, ты уже пьян и весел... Куды больше-то тебе? Нешто меня тебе не жаль? С утра раннего пьешь...

В сенцах кое-как шапку на Ивана нахлобучила. Потащила домой – в острог! Шел Иван, бывший обер-камергер и гвардии полковник, – подло шел, пьяно, на плече

жены вихляясь. Тяжело Наташе мужа тащить – через сугробы, через кочки. Запыхалась... А дома – новая пытка: все Долгорукие, забаве рады, в окна распялились, хихи да хахи строят. И Катька, пиявица царская, на братца пьяного так глядит, будто Наташа не мужа, а падаль домой принесла.

– Коли опять наблюдает здесь, – сказала, – так мы убирать не станем. Сама и вытрешь за им!

– Да первый раз мне, што ли? – подавленно отвечала Наташа. – Вам еще не привелось убирать за нами... Иди, Иванушко, ты дома уже. Очухайся!

Потом свекор явился, стал сына палкой лупцевать:

– Почто пьешь беспробудно? Почто без ума пьешь?

Иван под палкой брыкался:

– С горя пью, папенька! Потому как был обер-камергер, а ныне кто я есть?.. Ой-ой, больно мне!

– А кто повинен в том? – не унимался старый князь. – Нешто я тебя разуму не учил загодя? Ежели б государь покойный завещаньице наше апробовал, быть бы Катьке царицей, а тебе – наверху!

Наташа кинулась на защиту Ивана, тут и ей палкой досталось.

– Я тебя, змея подколодная, – сказал ей свекор, – до самого донышка вызнал: ты на наше добро, на долгоруковское, позарилась, да – не вышло, не вышло... Не вышло! Хе-хе!

– Эх, вы... Долгорукие, – укорила его Наташа. – Неужто мне ваше злато надобно? Да и где оно? Что-то не видать.

– Было... было, – заплакал старый князь и ушел...

Иван с полу поднялся. На жену глядел глазами мутными.

– А ты не перечь... тятеньке-то моему! – сказал. – Чать, он не глупее тебя будет. Да и постарше нас с тобою.

– Велика ли заслуга – старым быть? – отвечала Наташа. – Да и старость-то худа у него, без решпекту. Привык за легионом лакеев жить. А теперь... Сымай рубаху-то, – велела она Ивану. – Сымай, я чистую дам. Да ложись спать... – И вдруг кинулась в ноги мужу. – Не пей боле, Иванушко! Не пей... Пожалей меня, горькую. Любить-то как стану! Крошками со стола твоего сыта буду, и ничего не надобно мне иного...

Тут Анька с Аленкой вошли, составили к порогу ведра.

– Катька, – сказали, – воду с реки не понесет: она царица у нас! А мы ишо махонькие... Иди ты по воду!

– Ладно. – Наташа с колен поднялась. – Иванушко, помоги мне воду нести. Надорвусь я, чай, от ведер этих...

– Мое ли дело то? – отвечал муж. – Я обер-камергером был, и теи ведра, в насмешку себе, никак не понесу.

– Ну что ж, – сказала Наташа. – Бог с вами со всеми...

У ворот острожных ветеран-солдат пожалел ее:

– Они-то ссыльные, а ты едина тут будто каторжная...

От реки было идти тяжело. Громыхали обледенелые бадьи. После родов недавних болело у Наташи внизу живота: трудные роды были, а в Березове даже повитухи не сыскалось. Стук да стук – ведра деревянные, плесь да плесь – вода окаянная... Тяжело и горько!

Светились на взгорье желтые окна острога. Вспомнила она тут готовальни свои, на Москве оставленные. Еще и шахматы точеные. Игра тонкая! Да задачи алгебраические, которые решить не успела. Все это заволкло в памяти бедой и одиночеством. «Эх, – думалось, – только б Иван не пил... Все легче было б!»

И вдруг чьи-то руки перехватили ведра. Вгляделась Наташа в потемки – это он, воевода Березова, майор Бобров.

– Княгинюшка, – сказал майор, – не печалуйся. Хоша и присягнул стеречь вас, псу церберскому подобну, но к тебе, миленькая, всегда уваженье выражу. Потому как любя ты всем нам...

– Спасибо на добром слове, сударь, – отвечала Наташа воеводе. – Но себя берегите тоже: как бы добро ваше не обернулось бедой для вас... Времена-то каковы, сами знаете!

Не расплескав, донес воевода Бобров ведра. Постоял у притолоки, на спящего Ивана глядя, и произнес слова утешительные:

– Не бойсь! Где люди есть – там человеку жить всегда можно...

...

Сибирь, Сибирь! Каторга, рудни, колодки, клейма да плети...

И никуда человеку отсель не деться. Коли не приставы, так леса дремучие, звери лютые стерегут людей горемычных. Всеми заводами, на коих спину ломала каторга, управлял Вильгельм Иванович де Геннин – рудознатец и прибыльщик, человек ученый и честный. Вот от него каторга обид не знала: он ее – уважал!

От Иркутска расходились по тайге лозоходцы: мужики смышленные, без роду, без племени, но дело знающие. Они шли и шли, неся в руке лозу расщепленную. Им ветка лозы знак подавала: где надо – там они колышек вбивали. Знать, тут земля что-то хоронит от людей. Каменья драгоценные, серебро или медянку зеленющую. Тех мужиков-лозоходцев де Геннин крепко от себя жаловал и хотел даже книгу о них писать, дабы Европа знала – сколь мудреные люди есть!

А как писать? На них и глядеть-то страшно, ноздри до кости вынуты, дышат сипло, на лбах «КА» выжжено, на щеках литеры проставлены – «Т» и «Ъ» (все

вместе – «КАТЬ» получается); у других на лбу, словно звезда горячая, одна буква светится «Б» (это значит – бунтовщик)... Ну как о таких напишешь? Однако люди они добрые: от подобных-то катов и бунтовщиков Сибирь в истории славно двигается. Де Геннин верил, что случись уехать ему – и каторга его слезами проводит. От такого согласия хорошо и ловко работалось в Сибири!

Сибирский губернатор заседал в Тобольске, а в Иркутске сидел главным Алексей Петрович Жолобов, который говорил так:

– Бабы городами не владеют...

Отчего и был великий испуг в канцелярии: хотели уже «слово и дело» на Жолобова кричать. Шутка ли! Анна Иоанновна тоже баба, а всей Россией владеет. Однако нерчинский начальник, Тимоха Бурцев, все доносы, какие ему на глаза попадались, в куски рвал.

– Курьи-дурьи! – кричал он. – Здеся вам великая Сибирь, а не Питерсбурх поганый! Вы мне тута доношеньями не мусорьте. А то свалю вас всех в шахту и тую шахту водою по маковку затоплю...

Затихло все... Жолобов вскоре Бурцева к себе вызвал:

– Тимофей Матвеич, ешь-пей... Рассказывай!

– Да што сказать-то? – пригорюнился Бурцев. – Сам видишь, каков я есть: школ не кончал, дворянства не нажил, походов громких не ломал, награжден не бывал, в столицах живать не привелось... Весь, как есть, я волк сибирский. Одно дело мое – рудное!

– А людишек шибко ли треплешь? – спросил его Жолобов.

– Насмерть об стенки их расшибаю! У меня на то особый прием имеется – каторжный. Как хлопнешь человека, он постоит малость, в сомнение приходя, а потом снопом... кувырк, и все тут!

– Ты это оставь, – пасмурно ответил Жолобов. – Заводское дело, оно дело жестокое. Но убивству я не потатчик. Не век же мы тут вековать станем... Меня

вот, сам ведаешь, от добра бы сюда не прислали. Я шибко противу самодержавия кричал на Москве! Мне сам граф Бирен, пес худой, отомстил. И хоша я вице-губернатор и твой живот, Тимоха, в моих руках, все едино – я тоже есть кат, только литеров на ликах наших еще не выжжено... Ешь-пей!

– А про тебя сказывают, будто очень смел ты, Алексей Петрович, – отвечал Бурцев, угощаясь. – Почто сам на дыбу скачешь? Привяжи язык свой покрепче, чтобы на «слово» по «делу» не напороться.

– А я их всех... – сразу забушевал Жолобов. – Я Бирена поганого еще в Митаве колодкой сапожной бил и, придет время, всех злодеев раком поставлю... На Москве! На месте Лобном!

Вернулся Бурцев из гостей к себе в Нерчинск – на заводы. А в канцелярии ему нового ката предъявили – Егорку Столетова, и стал его Бурцев расспрашивать – где был, что делал, кого знаешь? Егорка хвастал, что был в адъютантах у фельдмаршала Долгорукого, воедино с ним под указ попал, музыку и стихи слагать может...

– Это на што же тебе? – задумался Бурцев, волк сибирский.

– А так... – отвечал Егорка. – Для изящества душевного.

– Дурак ты, как я погляжу... Дран был?

– Не! – соврал Егорка для амбиции.

– Ну, мы эти резоны сейчас проверим... Ложись!

На лавке несчастного пиита разложили и долго сукном со спины его натирали. Пока не проступили под шкурой розовые полосы.

– Зачем врешь? – сказал Бурцев мирно. – Мы ведь здесь не дураками живем... Ты дран уже был, и я тебя драть тоже имею право!

Но драть не пришлось. Прикатил однажды в Нерчинск Жолобов по делам службы, целовал Егорку при всех, без боязни. Потом 20 рублей ему дал; с плеча

своего атласный камзол скинул и на Егорку водрузил. Шапками губернатор с катом обменялся, и на всю улицу кричал Жолобов слова подозрительные:

– Чувствуйте, люди! Вот он – песни умильные слагает, чего не всякий может. И вы его не обижайте, ибо пииты и художники по сусекам не валяются... Это сволочь высокая их не ценит, им бы только оды прихлебательные слушать! А каторга скоро запоет песни нежные, сим Егоркою сочиненные...

И тогда Егорка от такой заручки осмелел: колодки не нашивал, в шахты не лазал, дарованные деньги стал пропивать. И всюду шапку губернатора хвастал.

– Это што! – говорил, гордясь. – Мы с его превосходительством в приятелях ходим, не раз у цесаревны Елисавет Петровны винцо попивали... Бывало, и высоких особ мы били! И только время ждем, когда еще бить станем... Вы, люди, это знайте!

И, по кабакам гуляя, стал Егорка Столетов знакомцами обзаводиться: крючкодеи ярославские, взяткобравцы питерские, ябедники смоленские – вся шмоль-голь приказная, в Сибирь за грехи сосланная, окружала «романсьеро» московского, который поил шарамыжников всех – направо и налево.

– Рази вы люди? – кричал им Столетов. – Пузанчики да лобанчики, што вы знать можете? А я – да, я знаю: нотной грамоте учен немало, от моих стихов горячительных любая госпожа моей стать желает. Теи стихи мои сам кавалер Виллим Монс на императрице Екатерине проверял, и успех любовный имел... [З – Именно за эти «горячительные» стихи Е.М. Столетов и был сослан при Петре I на каторжные работы в Рогервик, камергер же В. Монс поплатился своей головой.]

Но однажды грохнула с разлету дверь кабака, в клубах пара с мороза ввалились солдаты. А меж ними, весь в собачьих мехах, человек каторжный. Солдаты размотали его, словно куклу, дали ему водки выпить для обогрева. На дворе фыркали застуженные кони...

Проезжий долго на Егорку глядел, калачик жуя:

– Али не признал ты меня, романсьеро?

– Ей-ей, не знаю, – перекрестился Столетов.

– А я есть Генрих Фик, камералист в Европах известный. Проекты писал, кондиции блюл... А ныне – несчастненький.

– Куды же едешь теперича? – спросили его.

– Не еду, а меня возят. И нигде мне места не отведено, чтобы осесть. Вот сейчас лягу на лавку, вздремну малость, и меня снова повезут. И будут так возить по Сибири, пока не подохну!

Калачик упал, до рта не донесенный: Генрих Фик уже спал. Затихли люди кабацкие – люди бездомные. Они чужое горе всегда уважали. Потом солдаты лошадей в кибитке переменили. Взяли Фика за локотки, поволокли на мороз. Он так и не проснулся...

Все царствование Анны Иоанновны никто и никогда не видел больше Генриха Фика: дважды на одном месте спать – и то не давали!

Глава седьмая

А диспозиция въезда Анны Иоанновны в Петербург была такая.

Первым ехал почт-директор с почтмейстерами.

Верховые почтальоны трубили в рога – протяжно.

За ними – капральство драгунское на лошадях.

Потом иноземные купцы.

А литаврщики, зажмурив глаза, ударяли в тулумбасы.

Цугом катились кареты господ кабинет-министров.

И – генералитет.

И – господа Сенат.

За важными особами ехали конюхи императрицы.

Фурьеры и лакеи – верхами.

Пажи с гофмейстером – чинно.

Наконец показалась карета графа Бирена – пустая.

Вот и matka Анна катит на восьмерике.

А сбоку от нее скачут на жеребцах Бирен и Левенвольде (два любовника царицы, въезжающей в свою новую резиденцию)...

Сию «диспозицию» составил Миних, и был у него спор с Федором Соймоновым: куда моряка ставить? Ученый навигатор в «диспозицию» никак не лез, от почета отговаривался. Порешили сообща так: состоять ему у «надзора за питиями». Иначе говоря, дежурил Федор Иванович возле бочек с водкой, дабы драки не было. Трезвых – силою внушения! – понуждал к питию. А тем, которые лыка не вяжут, тем пить возбранял. Все творилось указно («под опасением жесточайшего истязания!»). А вечером был жалован допущением к руке императрицы. Анна Иоанновна моряком даже залюбовалась. Соймонов был детинушка добрый. Шея у него – бурая от ветров, кулаки – в тыкву, взор острый – из-под бровей косматых.

– Ну и здоров ты, флотской! – восхитилась Анна Иоанновна. – На-кось, – протянула Соймонову бокал свой, – согреси из ручек моих царских...

– Матушка-осударыня, – отвечал ей Соймонов, – хотя я, надзирая сей день за питиями, на морозе стоя, неволью с ведро белого принял уже, но из твоих ручек... изволь!

И, достав чистый плат, слюнявый край бокала – после бабы пьяной – он тщательно вытер. Тут императрица раздулась от гнева.

– А-а-а! – заорала. – Так ты мною брезгуешь! Это мною-то, самой императрицей, брезгуешь... Я тебе не лягушка худая!

И уже руку подняла, чтобы драться. Но тут (спасибо судьбе) подвернулся изящный Рейнгольд Левенвольде и сказал:

– Ваше величество! В европейских странах культурным обычаем принято посуду чужую платочком вытирать. Даже после Людовикуса вельможи версальские всегда бокалы галантно оботрут...

Анна Иоанновна пьяно пошатнулась, Соймонова за шею обхватила, обожгла его дыханием винным.

– Ой, держи меня, – говорила с хохотом. – Держи, морячок, крепше... Вся я такая сегодня нежная... нежная... Ой, хосподи, да што это меня ноги сей день не держат?..

С одной стороны – Рейнгольд, с другой – Соймонов, они дотянули грузную царицу до покоев внутренних. На постель она не пожелала, на полу шкуры лежали медвежьи – так и рухнула... Федор Иванович со лба пот смахнул и зарекся более у двора бывать. И к престолу более не лез. Его дорога иная, строго научная, деловая. Ныне вот, прокурором Адмиралтейств-коллегии став, он президенту, адмиралу Головину, сразу так и сказал:

– Изящнейший граф! Только не воровать...

И граф Головин его сразу невлюбил. Ну и не люби.

По утрам Соймонова часто навещал Иван Кирилов – обер-секретарь сенатский. Как и в Москве, раскладывали они карты.

– Академик Жозеф Делиль для нужд Камчатской экспедиции карту составил. И в Сенате уже толкуют, чтобы Витусу Берингу к Америке идти, землю Хуаны да Гама искать... А где есть земля та? Не ведаю.

Кирилов грудью бился об стол, жестоко кашляя.

– Может, такой и совсем нету? – сказал, отдышавшись. – Нет ли подвоха тут? Дабы навигаторов наших от земель Камчатских отдалить, на бесплодные поиски их посылая? Не к тому ли Делиль и братца своего из Парижа сюда вызвал да в отряд к Берингу его пихает?

– Сколько слов я сказал! – обозлился Соймонов. – А все без толку... Подозрение имею. Будто Делиль тот, муж в науках почтенный, Генеральную карту России сознательно искажает. Мало того, копии с наших ландкарт снимает и подлым способом их в Париж переводит...

Неву однажды переезжая, Федор Иванович в Академию завернул.

– Имею, – огорошил Шумахера, – срочную надобность в сочинениях гишпанцев – де Фонте и дон Хуана Гамы...

Шумахер рот открыл. Думал. Потом спросил:

– А какого цвета книги сии?.. Была как будто одна. Вроде пергамина травчато-зеленый, а спрыскан обрезом на золоте...

– Тьфу! – сказал Соймонов и ушел, ничего не добившись.

Лошади завернули его на канал – прямо к дому Еропкина.

– Петра Михайлыч, – сказал он архитектору, – ты книголюбивый славный. Нет ли книжиц у тебя о землях басенных, что ниже Камчатки лежат? Будто великий хвастун де Фонте там города великие видел. Мне сверить надобно: чтобы Беринг по морям не напрасно плавал, химеры сказочные отыскивая! А прямо шел – к цели...

День окончен. От трудов праведных можно домой отъехать в саночках. На Васильевском острове лошади ноги ломали: весь остров канавами перекопан – ровными, как линии. То остатки творения гениального Леблона, который мечтал здесь русскую Венецию создать. Но Венеции у него не получилось: горячий Леблон со всеми разлаялся и уехал. Меншиков же деньги (отпущенные на

Венецию) разворовал, а до дому теперь «с великим потужением» добираются жители, через канавы те ползая на карачках...

Шубу скинув, шаухтбенахт поднялся в дом. Сенные девки воды вынесли, полотенца подали. Фыркая оглушительно, мылся Соймонов.

Вот и к столу пора. В светлице стенки холстиной обиты, печка в зеленых изразцах, три картинки бумажные в рамочках самодельных. В углу – шкаф, а в нем за стеклом чашечки стоят порцеленовые. По стенам – коробья с книгами латинскими и немецкими. На подставке особой красуется модель корабля «Ингерманланд», которую Соймонов саморучно сделал в память себе: на этом корабле, в чине мичмана, он плавал под синим флагом самого Петра.

– Дарьюшка! Привечай мужа да к столу сопроводи...

Первым делом – чарку водки, перцовой. Эк! Даже дух захватило. А потом – щи. Когда жена рядом, то простые щи идут за милую душу.

– Ну, мать, – сказал Соймонов жене, наевшись. – Ты баба у меня золотая, и пропасть тебе я не дам. А потому наказываю супружески, наистрожайше: ко двору царицы не суйся! Меня тут Остерман стал заискивать, а знать, и тебя опохвалить захотят. Ежели на ласку придворную поддашься, так я возьму тебя за волосы и буду по комнатам возить, покуда не сомлеешь...

– Как вам угодно, осударь мой любезной! – отвечала жена.

...

– Ай вы, кони же мои, вы, лошадки мои удалые! Хороши живы, кобылы мои – да с жеребятками малыми...

Вот она, стезя-то, – открылась: летит карьер Волынского на гнедых да каурых, все шибче. Что там еще мешает? Доносы? Пущай дураки их боятся. А ему не привыкать сухим из воды выходить. Нагрязнул в Юстиц-коллегию под воскресный день, когда ни президента, ни вице, ни прокурора не было: в баню ушли

париться да квасы пить. Только стоит за столом асессор Самойлов – строка приказная (под «зерцалом» урожден, гербовой бумагой пеленут, с конца пера вскормлен). Волынский на руку ему – р-раз! Да столь тяжело, что рука асессора провисла от золота. Взяткобравство? И затрясся асессор: мол, не погуби, не вводи в соблазн. Семья, три дочери... жена пузом опять хворает.

– Ври больше! – сказал ему Волынский. – Я в дверях постою, а ты дело спроворь... Эвон и печка топится!

И все доносы, какие были на него скоплены (по делам Астрахани, Казани и прочим хворобам), тут же в печке спалили. Артемий Петрович сам кочергой золу разгреб, смеялся.

– Дурень! – сказал Самойлову. – Знаю я вашу подлую породу... У всех у вас по три дочери да жены с пузом...

И – вышел. Было ему хорошо. Даже дышать стало легче. Главный враг его, Ягужинский Пашка, ныне в Берлине – заброшен. Остерман, супостат вестфальский, за двором в Питер поволочился. А вот он, губернатор и дипломат бывый, на Москве при лошадаках остался.

Большой пост! Что есть лошадь? Лошадь есть всё...

Не будь лошади – не вспашет мужик пашенки (вот и голодай); не будь коня – нечем снарядить кавалерию добрую (и поражен в битве будешь). А что охота? А что почта? А что дороги? В гости, ведь если подумать здраво, и то без лошади не сунешься.

Вот и выходит, что лошадь – мощь и краса государства!

Зимою Волынский открыл на Москве особую Комиссию для рассмотрения порядка в делах коннозаводских. Левенвольде – лодырь. Ему бы по бабам ходить да в карты понтировать. Такие люди всегда поздно встают. А вот Волынский в пять часов утра (еще темно было) открыл ту Комиссию торжественно. И кого выбрали в президенты? Конечно, его и выбрали президентом Комиссии.

Да, хорошо начинал Волынский после инквизиции и розысков свою карьеру заново. Круто брал судьбу за рога и валил ее, подминал под себя, податливую. Загордился. Вознес подбородок над париками сановными. Ходил – руки в боки да погогатывал:

– Ай да и кони же вы мои! Кобылки вы мои – с жеребятками! До чего же люблю мне – вскачь нестись... галопом-то!

Только, глядь, сидят в уголку канцелярии двое. Оба серые, как мыши амбарные. Один конверты горазд ловко клеить. Другой, уже в летах пожилых, клей варит. И по-русски – ни бельмеса.

– Кто такие? – подступился к ним Волынский.

– Я фон Кишкель-старший.

– Я фон Кишкель-младший.

– А ну... брысь отсюда! Чтобы и духу не было...

Обоих так и высвистнул за порог. Побежали фон Кишкели к Левенвольде – жаловаться. Три часа в передней ждали, пока граф проснется. Проснулся он и вышел к ним – в самом дурном виде (после проигрыша). Послушал брезгливо и велел убираться:

– Мое дело – лошади, а ваши кляузы – не по мне...

Вернулись фон Кишкели в канцелярию дел конюшенных, а там, на их месте, уже сидят двое русских: Богданов и Десятов, бумаги пишут дельные... Волынский сжалился и сказал, морщась:

– Ладно! Столов боле нет, так вы к подоконникам приткнитесь...

Затаив свое рыцарское зло, присели фон Кишкели к подоконникам и стали (тихо-тихо, никому не мешая) клеить конверты. За стеной раздавался легкий шаг – шаг президента. Все выше и выше всходила, осиянная фавором, звезда Артемия Петровича Волынского...

По вечерам фон Кишкели слезливо вспоминали Митаву.

...

Лепные гении ревели под потолком в трубы. У них были толстые ноги и непомерно раздутые щеки. Под теми гениями сидел сам Данила Шумахер и записывал академиков в журнал: когда и куда отлучились? Баба-повариха принесла секретарю обед, приготовленный знаменитым кухмистером Фельтеном (на дочери которого и был женат Данила Шумахер). Секретарь Академии «де-сиянс» поднял крышку с котла, понюхал пары благовонные, потом долго гладил бабу-повариху по обжорным мясам. «Галант, – сказал он. – Это деликатес...»

Тайком от него (в журнал не записываясь), пока Шумахер ел и бабу гладил, утекнули из Академии двое – мужи ученые. Это были два брата – Жозеф Делиль и Луи Делиль де ла Кройер (астрономы). Трактирный дом в два этажа был строен на юру. Его продувало откуда хочешь. Трещали паркетные. Выли печи голландские. Изразцы на них – в кораблицах. Входя в трактир, Жозеф Делиль сказал брату:

– Петр Великий потому и был велик, что велел содержать при Академии наук кухмистра. Дабы мы, ученые мужи, по трактирам не шлялись. Но повара того подлый Шумахер подарил Кейзерлингу, и теперь самой природой извечного голода осуждены мы транжирить себя по харчевням... Виват!

– Виват, виват, – отвечали из-за столов, из-за печек.

Сели два брата за стол и попросили вина:

– Фронтиниаку! (На что получили ответ, что фронтиниаку нету). Как нету? – возмутился Делиль-старший, академик и астроном. – А вон, я вижу отсюда, сидят два шалопая и всю тянут фронтиниак!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

В.В. Долгорукий (1667–1746) – принадлежал к старобоярской партии, был врагом крутых реформ Петра I, за связь с царевичем Алексеем в 1718 г. поплатился ссылкой, генерал-фельдмаршал с 1728 г.; несмотря на консерватизм, был честным патриотом и храбрым воином. Советская историография высоко оценивает его боевые заслуги. В царствование Елизаветы князь В.В. Долгорукий, уже глубоким стариком, возглавлял Военную коллегию, и ему пришлось, после засилия немцев, заново восстанавливать армию на русских началах.

2

В разговорной речи XVIII века Шлиссельбург, город и крепость, назывались Шлюшином.

3

Именно за эти «горячительные» стихи Е.М. Столетов и был сослан при Петре I на каторжные работы в Рогервик, камергер же В. Монс поплатился своей головой.

Купить: https://tellnovel.com/ru/pikul_valentin/slovo-i-delo-kniga-pervaya-carica-prestrashnogo-zraku-tom-2

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)